В Е С Т Н И К
БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2 / 2012
ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА

Журнал издается
с 2012 г.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-47645

Ответственный за выпуск
А.П. Майоров

Редакционная коллегия
С.С. Имихелова, д-р филол. наук (гл. редактор)
Г.С. Доржиева, д-р филол. наук
Е.А. Бардамова, д-р филол. наук (отв. секретарь)
Л.П. Ковалева, канд. филол. наук
А.П. Майоров, д-р филол. наук
Р.П. Матвеева, д-р филол. наук
Г.А. Дырхеева, д-р филол. наук
Н.А. Дарбанова, канд. филол. наук

АДРЕС РЕДАКЦИИ
670000, Республика Бурятия
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а

Издательство Бурятского госуниверситета
E-mail: riobsu@gmail.com

СОДЕРЖАНИЕ

I. Теория языка

Адаева О.Б. Конститутивные признаки лингводидактического дискурса 6
Глинкина Л.А. Традиции и новации в современном лингвистическом источниковедении 9
Дашинимаева П.П. Форма и семантика: новый взгляд как новый методологический ориентир 16
Доржиева Г.С. Функциональные и формальные признаки образной топономинации 22
Омельченко Л.Н. Тексты-характеристики в системе функционально-смысловых типов речи 30
Ханташкеева Т.В. Проблема эволюции ценностных ориентаций языковой личности 35

II. Романо-германская филология. Английский язык

Максимов В. Д. Семантические особенности английской адъективной фонолексики 45

III. Русистика. Современный русский язык

Хандархаева И.Ю. Структурно-семантическое значение глаголов совершенного вида в аористическом употреблении 52

Русская диалектология

Игнатович Т.Ю. Архаические диалектные различия и современные языковые процессы в субстантивной падежной парадигме множественного числа в забайкальских говорах севернорусского происхождения 58
Федотова Т.В. Русские говоры и языковая ситуация Забайкальского края как факторы формирования топонимической системы 68

История русского языка

Боярская О.В. Отглагольные имена прилагательные в «Описаніи заводскихъ зданій и устройствъ» Златоустовского завода (1811 г.) 74

Биктимирова Ю.В. Становление падежной парадигмы единственного числа существительных женского рода по памятникам делопроизводства Восточного Забайкалья конца XVII – середины XVIII вв. 78
Майоров А.П. Взаимодействие нормы и регионального узуса в историческом аспекте 83
Овчинникова М.В. Наименования преступников в деловом узусе Забайкалья XVIII века 90
Русанова С.В. О типах отношений между книжно-славянскими, приказными и разговорными средствами в деловом языке XVIII века (на материале забайкальской деловой письменности) 96
Цыбикова В.А. Глаголы со значением распоряжения в деловом языке XVIII века (на материале забайкальской деловой письменности) 101

IV. Бурятоведение и монголоведение

Аюурын Бумбаар. Национально маркированная лексика в монгольском переводе пушкинского произведения “Сказка о рыбаке и рыбке” 104
Бадмацыренова Н.Б. Идиоматические сочетания в монгольских языках 109
Бардамова Е.А. Начало и *конец* по материалам бурятского языка 115
Бухаева Р.В. Прецедентные имена как этноспецифические стереотипы языкового сознания бурят 126
Дырхеева Г.А. Компьютерная лингвистика в бурятоведении 133
Егодурова В.М. Категория залога в бурятском языке 138
Санжина Д.Д. К изучению проблемы интерференции (на материале бурятско-русского двуязычия) 148
Сундуева Е.В. Формирование поля нулевой фонации с помощью корневого согласного [m] в монгольских языках 154
Харанутова Д.Ш. Фоносемантический способ словообразования 160

V. Литературоведение. Фольклористика

Данчинова М.Д. Маленькие бездны человеческой природы в рассказах А. П. Чехова 166
Болдонова И.С. Герменевтический анализ художественного текста: коммуникативный аспект 171

CONTENTS

I. Language theory

Adaeva O.B. Constitutive attributes of linguodidactics discourse 6
Glinkina L.A. Traditions and innovations in modern linguistic source study . 9
Dashinimaeva P.P. Form and semantics: new approach as a new methodology indicator 16
Dorzhieva G.S. Functional and formal signs of the metaphorical nomination 22
Omelchenko L.N. The texts of characterization in the system of the functional-semantic types of speech 30
Khantashkeeva T.V. Problem of evolution of value orientations of the language personality (based on the language of the love charms) 35

II. Roman-Germanic philology. English language

Maksimov V.D. English adjective phonolexic's semantic peculiarities 45

III. Russian philology. Modern Russian language

Khandarkhaeva I.Yu. Structural and semantic meaning of the verbs in the perfect form in the aoristic use 52

Russian dialectology

Ignatovich T.Yu. Archaic dialect distinctions and modern language processes in a substantive plural case paradigm in Transbaikalian dialects of North Russian origin 58
Fedotova T.V. Russian dialects and the language situation Trans-Baikal region as factors in the formation of toponymic system 68

History of Russian language

Boyarskaya O.V. Verbal adjectives in «The description of factory buildings and devices» Zlatoustovsky Factory (1811) 74
Bictimirova Yu.V. Formation of a paradigm of nouns of a masculine gender in a unique case on monuments of the cursive documents of East Transbaikalia in the end XVII – the middle of XVIII centuries 78

Mayorov A.P. Historical aspect of interaction between norm and usus 83
Ovchinnikova M.V. The denomination of offenders in business uses of Transbaikalia of XVIII century 90
Rusanova S.V. Types of the relations between book-Slavic, imperative and colloquial means in business language of XVIII century. 96
Tsybikova V.A. Verbs of disposition in the official register of the 18-th century (based on the Transbaikalian business documentation) 101

IV. Buryat and Mongolian studies

Bumbaar Ayuryn. Nationally marked lexics in Mongol translation of Pushkin`s "Tale about fish man and fish" 104
Badmatsyrenova N.B. Idiomatic combinations in Mongolian languages 109
Bardamova E.A. The semantics of *beginning* and *end* in Buryat and Russian languages 115
Bukhaeva R.V. Case names as ethnospecific stereotypes of language consciousness of Buryats 126
Dyrkheeva G.A. Computer linguistics in Buryat science 133
Egodurova V.M. Category of voice of the verb in Buryat language 138
Sanzina D.D. To the study of interference problems (based on the Buryat-Russian bilingualism) 148
Sundueva E.V. Forming the field of zero phonation by means of root consonant [m] in Mongolian languages 154
Kharanutova D.Sh. Phonosemantic method of word formation 160

V. Literary criticism. Folklore studies

Danchinova M.D. Shallow deeps of a human nature in A.P. Chekhov's short stories 166
Boldonova I.S. Hermeneutic analysis of a literary text: communicative aspect 171

I. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

УДК 417

© *О.Б. Адаева*

Конститутивные признаки лингводидактического дискурса

В статье рассматриваются признаки лингводидактического дискурса как особой разновидности институционального общения: типовые участники, хронотоп, цели, стратегии, жанры, прецедентные тексты.

Ключевые слова: методика, лингводидактика, институциональный дискурс, лингводидактический дискурс.

О.В. Adaeva

Constitutive attributes of linguodidactics discourse

There are discussed the systemic characteristics of linguodidactics discourse as a special variety of institutional communication: discourse participants, chronotop, aims, communication strategies, genres, precedent texts.

Keywords: methods of teaching languages, linguodidactics, institutional discourse, linguodidactics discourse.

Прежде чем раскрыть конститутивные (существенные, основополагающие) признаки лингводидактического дискурса, уточним понятие лингводидактики. Как соотносятся лингводидактика и методика обучения языкам? Являются ли эти термины синонимичными и взаимозаменяемыми или их необходимо разграничивать?

В системе языкового образования лингводидактика либо фактически заменяет по своей сути термин методика [1; 2], что по справедливому замечанию профессора А.А. Миролюбова является антинаучным [10, с. 35], либо трактуется как часть методики преподавания языка [8], либо позиционируется как самостоятельная интегральная наука, разрабатывающая теоретические основы обучения языку [1; 4; 6], методике же при этом отводится роль педагогической техники, которая занимается внедрением результатов лингводидактического исследования в учебный процесс.

В данном исследовании, вслед за Е.И. Пассовым, мы исходим из того, что «никакая самостоятельная наука не является прикладной и эмпирической, что мы, к сожалению, постоянно слышим по отношению к методике. Любая наука имеет два уровня: теоретический и эмпирический. И применительно к нашей науке можно также сказать, что у нее есть уровень теории и уровень технологии» [11, с. 13]. Именно теоретический уровень методики обучения языку мы и будем называть лингводидактикой.

Выбор термина *лингводидактика*, в отличие, скажем, от терминологических сочетаний *теория методики* или *научная методика*, обусловлен, на

наш взгляд, тем, что, не обладая всеми качествами идеального термина, он, тем не менее, соответствует таким важным требованиям, как дефинитивность (наличие у термина дефиниции), мотивированность (соотнесенность термина с другими терминами той же системы или со словами общего языка, внутренняя форма термина. Ср.: *лингва* [лат. Lingua] 'язык', *дидактика* [от греч. didaktikos – поучительный] 'теория образования и обучения'), краткость, деривационная способность (т.е. способность образовывать однокоренные слова. Ср.: *лингводидакт, лингводидактический*), эмоционально-экспресивная нейтральность, внедренность (термин широко употребим в русофонной системе языкового образования [6]).

Итак, если лингводидактика – это теоретический уровень методики как науки, то *лингводидактический дискурс* – это совокупность научных текстов, описывающих базисные категории методики, определенные на теоретическом (методологическом) уровне, в неразрывной связи с ситуативным контекстом. В методике русского (родного) языка к таким категориям традиционно относят цель (зачем учить?), содержание (чему учить?), принципы и методы (как учить и чем при этом руководствоваться?). Смысловое наполнение этих понятий и составляет содержание лингводидактического дискурса, который, таким образом, становится частью научного дискурса.

Как любая институциональная разновидность общения, лингводидактический дискурс может быть охарактеризован на основе совокупности признаков: типовые участники, хронотоп, цели, стратегии, жанры, прецедентные тексты [7].

Участниками лингводидактического дискурса являются ученые, выступающие главным образом в роли исследователей, анализирующих, обобщающих, систематизирующих обширный и разнообразный фактический материал, полученный эмпирическим путем или в результате специально организованного эксперимента. «При этом характерной особенностью данного [научного] дискурса, – отмечает В.И. Карасик, – является принципиальное равенство всех участников научного общения в том смысле, что никто из исследователей не обладает монополией на истину, а бесконечность познания заставляет каждого ученого критически относиться как к чужим, так и к своим изысканиям» [7, с. 233]. Основной целью такого общения является информирование коллег о новом научном знании, а доминирующие функции языка/речи в дискурсе – референтная (референция – содержание сообщения) и метаязыковая (метаязыковая функция реализуется во всех устных и письменных высказываниях о языке, дефиниционном анализе, средствах различения «своей» и «чужой» речи, обозначении процессов и участников речевого общения и т.д. [9]).

Иной характер общения наблюдается в паре ученый – учитель. Ученый не просто сообщает новое знание, он предлагает и обосновывает некую идеальную модель процесса обучения языку, которая может быть принята и реализована учителем на технологическом уровне (или отвергнута, если

исследователь был недостаточно убедительным). Цель подобного общения – косвенное регулирование профессиональной деятельности; реализуемая в дискурсе общеязыковая функция – регулятивная.

Ученый может выступать и в роли педагога – автора учебника, содержащего педагогически переработанные и систематизированные научные знания. В таком случае клиентами дискурса становятся студенты, целью – вторичная социализация личности, т.е. передача профессиональных знаний, ценностей и норм поведения (в этом плане лингводидактический дискурс пересекается с педагогическим).

Хронотопом лингводидактического, как и любого научного дискурса, является сочетание типового времени и места научного общения: любая аудитория, где проходит конференция, круглый стол, заседание кафедры, кабинет ученого, библиотека [7].

Стратегии дискурса определяются его частными целями и реализуются в речевых жанрах. Для лингводидактического дискурса наиболее характерными являются тексты (статьи в научных изданиях, доклады на конференциях, монографии, вузовские учебники), в которых определяется предмет изучения («Некоторые принципы программированного обучения», «Стилистический эксперимент (к постановке вопроса)», «К изучению синтаксиса связной речи в школе»[1]), описывается теоретическая модель предмета изучения («Лингвистические основы школьного курса синтаксиса», «Системный подход к обучению языку»), излагаются и комментируются результаты экспериментальной работы («Изучение средств субъективной модальности в школьном курсе русского языка», «Словарная работа при изучении глагола», «Обучение школьников пунктуации целого текста»), систематизируются и популяризируются знания, отражающие определенный период развития науки (см., например, новые учебники методики [2; 3]).

Прецедентными для лингводидактического дискурса являются имена известных ученых – педагогов, методистов, лингвистов, психологов (Коменский, Песталоцци, Буслаев, Ушинский, Пешковский, Щерба, Виноградов, Выготский и др.), название их наиболее известных трудов, цитаты из этих трудов, а кроме того, официальные правительственные документы, определяющие стратегию языкового образования в стране.

Итак, содержанием лингводидактического дискурса являются научные знания о закономерностях языкового образования, типовыми участниками – ученые-исследователи, с одной стороны, и школьные учителя и студенты – с другой, целями – сообщение новых знаний, косвенное регулирование процесса обучения (русскому) языку и вторичная социализация, которые конкретизируются в специфических коммуникативных стратегиях и реализуются в типичных условиях научного диалога, как контактного, так и дистантного.

[1] В качестве примеров здесь и далее приведены заголовки лингводидактических статей, опубликованных в журнале «Русский язык в школе».

Литература

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: ИКАР, 2009. – С. 126–127.
2. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно-деятельностный подход. – М.: КНОРУС, 2007. – 464 с.
3. Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М.: Вербум-М, 2004. – 192 с.
4. Гальскова Н.Д. Еще раз о лингводидактике // Иностранные языки в школе. 2008. №8. С. 2–15.
5. Дейкина А.Д., Янченко В.Д. Тенденции в отечественной методике преподавания русского языка // Русский язык в школе. – 2011. – № 6. – С. 3–7.
6. Джусупов М. Лингводидактика и методика в полинаучной системе языкового образования // Русский язык за рубежом. – 2009. – № 2. – С. 26–32.
7. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.
8. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – 2-е изд. – М.: РОСТ, СКРИН, 1997. – С. 103.
9. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. – М.: Аспект-Пресс. – 207 с. // Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. – URL: http://lib.socio.msu.ru
10. Миролюбов А.А. Методика или лингводидактика // Иностранные языки в школе. – 2005. – № 2. – С. 34–36.
11. Пассов, Е.И. Сорок лет спустя, или Сто и одна методическая идея. – М.: ГЛОССА-ПРЕСС, 2006. – 240 с.

Адаева Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и МПРЯ Челябинского гос. пед. университета. E-mail: adaevaob@yandex.ru

УДК 418: 902

© *Л.А. Глинкина*

Традиции и новации в современном лингвистическом источниковедении

В 60–70 гг. XX в. лингвистическое источниковедение обособилось от традиционной историко-филологической науки. С.И. Котков и его коллеги разработали основы ее теории и практики. Информационность и содержательность как константы анализа древних текстов в процессе эволюции науки, сохранив свою значимость, получили новое научное осмысление. С развитием региональной лингвистики многократно увеличились объем, хронология, локализация достоверных публикаций текстов из архивных фондов. В современных научных трудах интегрированы методики лингвистического источниковедения и ряда смежных наук, намечены перспективы развития.

Ключевые слова: эволюция, константы, новации, лингвистическая публикация, типология текстов, интеграция смежных наук

L.A. Glinkina

Traditions and innovations in modern linguistic source study

The linguistic source study stood apart from the scientific practice of historical philology in the 60-70 (XX century). S.I. Kotkoff and his colleagues worked out the theoretical basis and the rules for ancient-texts- publication. Such constants of analysis as richness of content and informative aspect though their actual significance got some new scientific comprehension later. With the development of regional linguistics the volume, the chronology, the localization of authentic publications of those texts from archive funds enlarged repeatedly.

In modern scientific works the methods of linguistic source study integrate with some adjoining studies and the perspective of complex analysis is outlined.

Keywords: Evolution, constants, innovations, linguistic publication, adjoining studies integration, text typology.

1. Генетические корни лингвистического источниковедения (ЛИ) восходят к классическим трудам филологов и историков XIX – начала XX в. – А.Х. Востокова, Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского, Н.М. Каринского, М.Ф. Владимирского-Буданова, В.М. Ляпунова и многих других великих тружеников науки. В ходе развития историко-филологического источниковедения с его единой целевой установкой ввести в научный оборот драгоценные письменные свидетельства русской истории и культуры были осуществлены многотомные издания ПСРЛ, ПСЗРИ, РИБ. Они составили междисциплинарную источниковедческую базу для монографий по отдельным памятникам письменности[1]. Но к середине XX в. четко обозначилась необходимость критически оценить напечатанные тексты с позиций истории и лингвистики как двух отдельных наук, учесть ошибки при чтении и публикациях [1; 15; 16]. Их общим *объектом* остались собирание, подготовка к печати и издание древних рукописей и старопечатных книг, различным оказался *предмет* изучения. Для языковедов главным традиционным, хотя и динамичным, стало требование полной адекватности любого первоисточника и напечатанного текста древней письменности. В 60-е гг. XX в. были разработаны эдиционные правила лингвистического издания – С.И. Котков, О.А. Князевская, Л.П. Жуковская [27]; сформулированы теоретические основы ЛИ, выделены два главных аспекта лингвистического анализа памятников письменности: их **информационность** и **содержательность** [15]. Оба параметра и сейчас традиционно остаются константами ЛИ, понимание которых со временем уточняется и углубляется [1; 12; 13; 7].

[1] Более полные данные по хронологическим срезам опубликованы в списках источников для историко-лингвистических словарей (СДРЯ XI–XIV вв.; СРЯ XI–XVII вв.; СРЯ XVIII в.).

Лингвистическая информационность проявляется прежде всего в археографических особенностях текстов, палеографии, графике, орфографии. Позже к этим сведениям был добавлен ряд других параметров: место и время написания, наличие / отсутствие списков и копий, объем рукописи, степень сохранности, тип письма (устав, полуустав, скоропись, для конца XVIII в. – канцелярский курсив), тип печати (кириллица, «гражданица») и др. Главное достоинство лингвистической информационности в том, что она обеспечивает достоверность публикации древних текстов [1, с. 88].

Содержательность определяется тематикой, жанрово-стилистической спецификой и лингвистическими данными на разных уровнях языка.

II. В основе **типологии** текстуально-материальной базы лежит социально обусловленная коммуникативно-целевая направленность общения. Крупные системно-тематические блоки рукописных и опубликованных текстов отражают ***язык церковной письменности, язык делового письма, бытовой народно-разговорный язык***. Каждый блок включает жанры, характерные для соответствующей сферы общения. Остановимся на первых двух типах языка, получивших статус стилей русского литературного языка.

А. На этапе предыстории ЛИ (XVIII – нач. XX вв.) было найдено и опубликовано около тысячи восточнославянских рукописей XI–XIV вв. в основном ***церковнославянского*** типа, восходящих к южнославянским (старославянским) протографам или к оригинальным сочинениям[1].

Изучение церковного языка связано с именами корифеев исторического языкознания. Как отмечает В.Б. Крысько, традиционные церковные тексты позволили А.Х. Востокову заложить основы палеославистики, И.И. Срезневскому – основы русской исторической лексикологии, А.И. Соболевскому – основы русской исторической грамматики [16, с. 359].

Отметим новые аспекты ЛИ в последние десятилетия.

Издание этого блока письменности никогда не прекращалось, правда, с середины XX в. стало менее интенсивным. Лингвистами был издан ряд текстов древнерусского церковного извода: *Изборник 1076 г., Синайский патерик, Успенский сборник XII–XIII вв., Выголексинский сборник XI–XII вв.* (под ред. С.И. Коткова); *Апракос Мстислава Великого XI–XII вв.* (подготовлен к печати Л.П. Жуковской, Л.А. Владимировой, Н.П. Панкратовой), *Слово о законе и благодати* (подготовка к печати А.М. Молдована) [1, с. 149-150]. Л.П. Жуковской создано новое научное направление – текстология древнейших славянских памятников [9].

– В 1995 г. Е.М. Верещагин предложил самую полную на сегодня классификацию книжно-письменного языка Древней Руси, ранжируя его по степени «авторитетности» и по жанрам. Шесть из девяти выделенных блоков объединяют церковные жанры: *скриптурный, литургический, (ве-*

[1] Описание дано в каталогах ЦГАДА (1984, 1988 гг.) и РГАДА (2000 г.).

ро)учительный, житийный, канонико-юридический, проповеднический. Автор рассматривает их как источниковедческую базу для перспективного самостоятельного синтеза-обобщения [3, с. 14-15].

– В регулярной серии ИРЯ РАН «Лингвистическое источниковедение и история русского языка» публикуются новые исследования церковных текстов.

– Активно разрабатывается В.Ф. Дубровиной и Е.М. Верещагиным новая методика публикаций церковных восточнославянских переводов параллельно с греческим протографом.

– Впервые или заново исследованы *Пролог XII в., пандекты Никона Черногорца, Ильина книга, Новгородский кодекс XI в.,* найденный в 2000 г. [16; 11].

– Создается информационно-аналитическая система «Манускрипт: Славянское письменное наследие» (Удмурт. ГУ, рук. В.А. Баранов).

– С позиций современной лексикологии и лексикографии тщательно исследованы церковная лексика и фразеология [20], созданы *Словарь библейских крылатых слов и выражений* (сост. Г.А. Иоффе, 2000), *Полный православный богословский энциклопедический словарь* в 2-х томах (репринт, 1992), *Церковнославяно-русские паронимы: материалы к словарю* (2005) О.А. Седаковой, *Словарь православной и церковной культуры: более 2000 слов и словосочетаний* Г.Н. Скляревской, *Фразеологический словарь старославянского языка* (под ред. С.Г. Шулежковой, 2011).

Теоретическая и практическая значимость опубликованных текстов, а также изучения церковного языка в аспекте ЛИ на современном этапе несомненна и дает новые импульсы для решения старых проблем об истоках русского литературного языка [2; 9; 10; 16; 20].

Б. Не менее значима для современного ЛИ ***деловая письменность*** в ее непрерывной эволюции с XI по XVIII в. Она объемно представлена текстами разной хронологии и локализации. Деловая письменность Московской Руси и других регионов в XV–XVII вв. по своим масштабам оказалась почти необозримой, а потому до сих пор недостаточно систематизированной. Издание и исследование памятников русского делового письма, приказной деловой культуры насчитывает в России и за рубежом около двух столетий. Выделены крупные коммуникативно-тематические сферы делопроизводства: административная, судебная, производственная, назидательно-бытовая и др.

В изучении деловой письменности сложились традиции, заложенные трудами многих поколений известных ученых XIX в. В XX в. их продолжили С.П. Обнорский, А.М. Селищев, Г.О. Винокур, Л.П. Жуковская, В.Я. Дерягин, А.И. Горшков, А.Н. Качалкин, Г.А. Хабургаев, Е.М. Верещагин, А.М. Молдован, Л.Г. Панин и др. Деловой письменности посвящены исследования многих ученых, связанных с созданием историко-лингвистических словарей (Б.А. Ларин, Ю.С. Сорокин, Ф.П. Сороколетов, И.С. Улуханов, З.М. Петрова, Г.А. Богатова, О.С. Мжельская, В.Б. Крысь-

ко, И.А. Малышева, Л.Ю. Астахина и др.) [21].

Исследования стали еще более продуктивными с разработкой теории ЛИ и критериев классификации деловой письменности в научной школе С.И. Коткова и в трудах С.С. Волкова. В совокупности обе классификации в основном охватывают весь массив рукописного и старопечатного наследия деловой письменности.

По новым правилам *лингвистического издания* были опубликованы многие рукописные тексты делового письма, отражающие единство тематики места, времени написания. С открытием архивов изучение региональных материалов, начиная с 70-х гг. XX в., стало «массовым» по всей России. Открытые исторические фонды отражают в основном поздние тексты XVI–XVIII вв. разных жанров [1, с. 151-153; 7; 14; 17; 18; 26]. Уже в начале 70-х годов появились «полетные» публикации в сборниках статей по ЛИ с обзором или анализом региональных архивных материалов по фондам: *смоленским* (Ю.В. Королева), *псковским* (Л.Я. Костючук), *нижегородским* (Г.С. Самойлова), *челябинским* (Г.С. Шулежкова, А.П. Чередниченко), *вологодским* (Ю.И. Чайкина и Г.В. Судаков), *пермским* (Е.Н. Полякова), *тюменским* (Н.Н. Парфенова, О.В. Трофимова), *курганским* (Р.П. Сысуева, И.А. Шушарина), *тверским* (Н.С. Бондарчук, Р.Д. Кузнецова), по *бурятским* архивам (А.П. Майоров) и фондам *тобольского* музея (М.С. Выхрыстюк).

Однако объемные публикации памятников письменности в регионах сегодня нечасты. Благодаря поддержке РГНФ, за последнее десятилетие межвузовской проблемной научной группе по лингвокраеведению удалось издать ~ 190 печ. л. южноуральских, курганских, тобольских документов XVIII в. (*Челябинская старина*, ч. I–IX, *Курганская старина*, ч. I–IV, *Тобольская старина*, ч. I–IV, *Тобольский лечебник XVII – нач. XVIII в.* [5; 6, 19]. Особо выделим хорошо изданные в Улан-Удэ под ред. А.П. Майорова *Памятники забайкальской деловой письменности XVIII века* [17; 23] и *Сийские грамоты XVIII в.* – публ. О.В. Никитина [23].

Лингвистическое исследование деловых документов в России интегрирует жанрово-стилистический и традиционный подходы. Это углубляет его теорию и практику и обеспечивает достоверность языковых данных для решения глобальных проблем становления литературного русского языка и направлений (нормализации, стандартизации, демократизации). Особенно глубоко поставлены актуальные проблемы развития ЛИ и его взаимодействия с исторической лексикологией и лексикографией в трудах Л.Ю. Астахиной, Л.И. Шелеповой, И.А. Малышевой.

В монографии О.В. Никитина *Деловой язык и литературные тексты XV–XVIII вв.* и в его обзорных очерках *Деловая письменность в истории русского языка (XI–XVIII вв.)* [22, с. 10] мотивированно доказывается, что деловая письменность эволюционировала вместе со всей языковой систе-

мой, сохраняя свои внешние и внутренние характеристики. Развитие ЛИ дает новые материалы для осмысления дискуссионной проблемы соотношения церковнославянского (книжно-славянского) и древнерусского начала в становлении русского литературного языка в разные периоды его жизни.

III. Через всю историческую русистику проходит сквозная тема о соотношении и взаимодействии типов (стилей) языка. Церковные и деловые документы своеобразно отражают в разные периоды общую тенденцию сложного взаимодействия по языковым уровням книжно-славянского, делового и разговорного языка.

У ЛИ, как любого живого и продуктивного научного направления, новые проблемы рождаются с открытием новых памятников письма и их описанием, с выявлением новых предметов изучения. Так, научный интерес к тематической группировке лексики сегодня вывел исследователей на культурологический аспект изучения (*Мир человека в слове Древней Руси* В.В. Колесова, *Средневековый человек в зеркале старославянского языка* Т.И. Вендиной).

На лексическом материале текстов древности прослеживается вербализация фразеологических полей *слово, благо, вера, закон, мука* и др. Новая тематика (*языковая картина мира, языковая личность, идиостиль*) соединяет историческую и современную русистику.

Заявленная в статье тема обозначена лишь пунктирно. Она имплицитно и эксплицитно проходит через все хронологические вехи развития языка и через все лингвистические науки, т.к. оппозиция *традиции и новаторство* – это проявление динамического соотношения нового и старого, рождения и угасания. Относительно ЛИ тенденция проявляется в самом становлении и развитии нового научного направления: то, что было новацией в 60–70-е гг. XX в. (новые правила лингвистической публикации, системно-структурное описание памятников письменности), к концу века стало устойчивой традицией и обогатилось новыми подходами к текстам: коммуникативным, этнолингвистическим, стилистическим. Описание новых групп памятников письменности ставит вопрос о расширении хронологических рамок ЛИ (до начала XX в.) и уточнении типологии жанров письменности по содержательности и информационности неучтенных текстов отреченной литературы, эпистолярия, комплекса церковно-регистрационных документов, церковных летописей XIX–XX вв., лечебников и травников и др.

Активный и перспективный статус ЛИ обеспечивает его содружество с культурологией, диахронической стилистикой, статистикой, документологией, социолингвистикой, региональной диалектологией, региональной ономастикой, лингвокраеведением, архивистикой.

Литература

1. Астахина Л.Ю. Слово и его источники. Русская историческая лексикология: источниковедческий аспект / послесл. Ю.Н. Филипповича. – М.: Изд-во МГУП, 2006. – 368 с. – Книга в комплекте с CD-ROM.

2. Верещагин Е.М. Церковнославянская книжность на Руси. Лингвистические разыскания. – М.: Индрик, 2002. – 608 с.

3. Верещагин Е.М. Об источниковедческой базе исследований по истории книжно-письменного языка Древней Руси // Международная юбилейная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения академика В.В. Виноградова: тез. докладов. – М., 1995. – С. 14-15.

4. Выхрыстюк М.С. Тобольская деловая письменность второй половины XVIII в. в аспекте лингвистического источниковедения. – Ч. I. – Тобольск: Изд-во ТГПИ, 2006. – 212 с.; Ч. II. – Тобольск: Изд-во ТГПИ, 2007. – 214 с.

5. Глинкина Л.А. О работе над скорописными текстами XVIII века в архивах Южного Урала и Зауралья // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. – 2004-2005: сб. ст. – М.: Древнехранилище, 2006. – С. 420–425.

6. Глухих Н.В. Деловой эпистолярий конца XVIII – начала XIX в. на Южном Урале: лингвистика текста. – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2008. – 150 с.

7. Городилова, Л.М. О классификации и лингвистической ценности рукописных источников региональной исторической лексикографии // Российский лингвистический ежегодник. 2006. Вып. I (8). – Красноярск, 2006. – С. 91–101.

8. Жуковская Л.П., Котков С.И. О публикации памятников русского языка и письменности // Вопросы языкознания. – 1960. – № 4.

9. Жуковская Л.П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. – М.: Наука, 1976.

10. Живов В.М. Лингвистические теории и языковая практика в истории русского литературного языка XVIII века: автореф. дис. …д-ра филол. наук. – М., 1992. – 44 с.

11. Зализняк А.А. Проблемы изучения Новгородского кодекса XI века, найденного в 2000 г. // Славянское языкознание: XIII Междунар. съезд славистов (г. Любляна, 2003 г.). Доклады российской делегации. – М.: Индрик, 2003. – С. 190–212.

12. Качалкин А.Н. Жанры русского документа допетровской эпохи. Ч. II. Филологический метод анализа документов. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 120 с.

13. Копосов Л.Ф. Севернорусская деловая письменность XVII–XVIII вв. (орфография, фонетика, морфология). – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 287 с.

14. Кортава Т.В. Московский приказной язык XVII века как особый тип письменного языка. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 109 с.

15. Котков С.И. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. – М.: Наука, 1980.

16. Крысько В.Б. Русско-церковнославянские рукописи XI–XIV вв. как источник по истории старославянского и древнерусского языков: новые данные // Славянское языкознание: XIII Междунар. съезд славистов (г. Любляна, 2003 г.): Доклады российской делегации. – М.: Индрик, 2003. – С. 339–355.

17. Майоров А.П. К вопросу о классификации жанров русской деловой письменности XVIII в. (по памятникам Забайкалья) // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2006. – № 1 (142). – С. 141–148.

18. Малышева И.А. Памятники деловой письменности XVIII века как объект лингвистического источниковедения: монография. – Хабаровск: Изд-во Хабаров. гос. пед. ун-т, 1997. – 182 с.

19. Миронова А.А. Реклама в справочных изданиях XIX – нач. XX в.: историко-лингвистический аспект. – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2009. – 250 с.

20. Молдован А.М. Лексическая эволюция в церковнославянском // Славянское языкознание: XIII Междунар. съезд славистов (г. Любляна, 2003 г.). Доклады российской делегации. – М.: Индрик, 2003. – С. 395–413.

21. Никитин О.В. Проблемы этнографического изучения памятников деловой письменности. – М.: Флинта. Наука, 2000. – 204 с.

22. Никитин О.В. Деловая письменность в истории русского языка (XI–XVIII вв.). Лингвистические очерки / отв. ред. Л.Ф. Копосов. – М.: Флинта. Наука, 2004. – 266 с.

23. Никитин О.В. Сийские грамоты XVIII в. – М.; Смоленск: Изд-во СГПУ, 2001. – 130 с.

24. Памятники забайкальской деловой письменности XVIII века / под ред. А.П. Майорова; сост. А.П. Майоров, С.В. Русанова. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2005. – 260 с.

25. Панин Л.Г. Словарь русской народно-разговорной речи в Сибири XVII – первой половины XVIII в. – Новосибирск, 1991.

26. Полякова Е.Н. Русская региональная историческая лексикография. – Пермь: Изд-во ПГУ, 1990.

27. Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности / сост. О.А. Князевская, С.И. Котков. – М.: ИРЯ АН СССР, 1961.

Глинкина Лидия Андреевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и методики преподавания русского языка Челябинского государственного пед. университета. Тел.: 8(351)237-69-21, 8(351)239-36-43

УДК 81’37

© *П.П. Дашинимаева*

Форма и семантика: новый взгляд как новый методологический ориентир

Устойчивое зеркально-пропорциональное представление формального языкового знака и манифестируемой им семантики лежит в основе многих традиционных лингвистических положений. Предлагается взглянуть на проблему с точки зрения реального семиозиса с тем, чтобы новый взгляд мог служить ориентиром в пересмотре многих устоявшихся идей.

Ключевые слова: формальный знак, семантика, референция, означаемое, означающее.

P.P. Dashinimaeva

Form and semantics: new approach as a new methodology indicator

In the core of many traditionally accepted linguistic theories there is the principle of mirror-like correlation between form and the correspondingly manifested semantics. This viewpoint does not explicate a real semiosis display. The author suggests linguists should apply a new paradigm so that this focus might be the base to review popular and the like ideas.

Keywords: formal unit, semantic, reference, signified, signifier.

Традиционно соотношение формы и семантики рассматривается как соотношение означаемого и означающего, с одной стороны, и как лингвистическое обеспечение значения, с другой. С учетом большого структуралистского опыта гиперболизации роли языковой формы, называемой в литературе «лого- и фоноцентризмом», вопрос лингвистического обеспечения значения является крайне многогранным и наиболее дискуссионным. Фо-

ноцентрические убеждения иногда приводят к довольно наивным воззрениям, типа «именно потому, что нас в детстве научили языку, мы отличаем запах йода от запаха дегтя, потому что это различие поименовано в языке» [7, с. 12]. Здесь хочется спросить у автора: *почему тогда у глухонемых также работает обоняние и они могут отличить йод от дегтя?*

Отношения мысли и языка кажутся симметричными из-за того, что психологическая часть содержания мысли из сферы бессознательного – намерение, побуждения, волевые импульсы и т. д. – обычно не включается в состав означиваемого. Именно неясность самой природы данной части мысли и ее границ, обоснованная нематериализуемостью в языке, позволяет ученым либо игнорировать ее, либо считать идеальной субстанцией, не относящейся к сфере семантики.

Также в основе логоцентризма лежит принцип референции (заложенное в имени отождествление объекта внешнего мира с его ментальным представлением), благодаря которому и происходила онтологизация значения. В целом история теории значения признается историей, идущей от традиционной онтологизации к последовательному программному отказу от самой идеи референции. Д.В. Фоккема выделяет следующие этапы этой эволюции: 1) материалистический реализм классики, задающий строгую иерархию значений; 2) символизм с его идеей «корреспонденции» и иерархией символов, делающий первые попытки деонтологизации значения; 3) модернизм с парадигмой «гипотетического порядка и временного смысла», основанной на тезаурусе личного опыта, но сохраняющей еще свою онтологическую укорененность; 4) постмодернизм с его «эпистемологическим сомнением» в принципиальной возможности конструирования какой бы то ни было «модели мира» (в силу «равновероятности и равноценности всех конститутивных элементов») и программным отказом от любых попыток создания онтологии [5, с. 640-641]. На последнем этапе референция как таковая, согласно Бодрийяру, есть «симуляция», «симулякр».

Напомним, что к «лого- и фоноцентристам», т.е. к тем, кто переоценивает роль внешней речи в семиозисе, относятся Платон, Р. Карнап, М. Хайдеггер, В. Гумбольдт, Р. Барт, М.М. Бахтин, В.С. Соловьев и др.; к «умеренным логоцентристам» – А.А. Потебня, Б. Рассел, Э. Гуссерль; к «антицентристам» – Ж. Батай, Ж. Деррида, М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар.

Видно, что в этом списке французские философы XX в., не усматривающие манифестацию всех истинных помыслов во внешнем знаке, представляют меньшинство. Радикальный «анти-фоноцентрист» Ж. Деррида объясняет опыт восприятия слитого единства означающего и означаемого как обман, но обман, на необходимости которого сложилась целая эпоха от Платона до Гуссерля, от Аристотеля, Руссо до Гегеля [5, с. 640]. Сам философ постулирует возможность помыслить означаемое (концепт) в нем самом, в его независимости относительно языка, когда референтом выступает «внетекстовое» «трансцендентальное означаемое», предшествующее

процессу означивания. Примерно то же самое сказано в объявлении Мишелем Фуко о «кончине просветительского логоцентризма» в работе «Так что же такое Просвещение?», где специфика взаимоотношения слов и вещей объясняется характеристиками «пригнанность», «соперничество», «аналогия» и «симпатия» [9, с. 29-37].

Интересно отметить, что в истории философии языка всегда присутствовала тяга к отсоединению формы от значения, хотя бы на уровне теоретического предположения. В частности, в цикле изысканий, называемых «феноменологическими», в поисках онтологии объекта допускали данное разъединение. Так, в своей феноменологической программе Э. Гуссерль исходит из редуцируемости языка (осознанного изолирования формального знака от мысли), что вызывает неодобрение со стороны логоцентристов, постулирующих идею о том, что реальный смысл уже репрезентируется предложением, поэтому нет надобности полагать сознанию интенционально добывать смысл или истину.

Что касается «соотношения означаемого и означающего» в классической лингвистике от Соссюра до современных функционалистов, данная диада понимается как отношение взаимной предопределенности, обеспечивающее одинаковую интерпретацию языковых знаков, поскольку последние способны выразить любую мысль. Другими словами, убеждение в том, что означаемое и означающее находятся в состоянии автоматической спаянности, высказанное еще Аристотелем и «узаконенное» в двучастной модели знака Ф. де Соссюра, остается сегодня до сих пор релевантным (ср. референциальные концепции знака).

Противоположное мнение (Дж. Эйчисон, Дж. Лакофф, У. Лабов и др.) обусловливается тем, что значение – это нечто живое и ускользающее, поэтому следует «расшатать механическую, линейную систему соответствий между полем означаемых и цепочками означающих, украдкой навязываемую, суфлируемую традиционной (соссюровской) концепцией знака» [2, с. 424]. «Расшатывание» традиции есть разграничение мыслительного потока и формально-языковой сферы, поскольку смысл рождается (Хайдеггер), не может быть конституирован иначе, нежели коннотативно (Барт), необязательно по строго заданной траектории (Фуко), а слово является лишь произвольным указателем (Делез). Мы согласны с последней программой, составленной нами из разрозненных идей, программой, базовой основой которой является аксиома о раздельном хранении и активации означающего и означаемого.

Аппликативный потенциал психонейролингвистического подхода к исследованию онтологии речемышления трудно переоценить по той простой причине, что он основан на естественнонаучных допущениях. Это значит, что мышление и речь как два составляющих одного единства описываются в рамках той когнитивной среды, в которой они рождаются, развиваются и отмирают, оставив при этом неизбежные следы – кратко- или долговре-

менного пребывания – в эмпирическом «складе» знания субъекта.

Хотя в языковедении отходят от рассмотрения эпистемологии порождения и восприятия речи в рамках догматических представлений о языке «в самом себе и для себя», тем не менее *не* приходится говорить о готовности современных языковедов (в отличие от вышеупомянутых лингвофилософов) подвергнуть традиционные лингвистические постулаты методологической «ревизии». Более того с «получением» права рассматривать функционирование языкового знака с точки зрения его культуроносности, с одной стороны, и семиотичности, с другой, исследователю «вручается» право произвольно создавать способ его описания на основе тех или иных бездоказательных теоретических гипотез. Как известно, формальные средства обобщения позволяют изобретать множество подходов к одному и тому же языковому явлению.

Смягчая критический пафос этих размышлений, выскажем однако некоторые доводы в оправдание современных лингвистических теорий и гипотез. Сама дисциплина «языковедение», будучи теоретической, конечно, должна рождать, потому и рождает, искусственные идеализации языка. Более того, методологический «родитель» под названием «философия языка», пребывающий в постмодернистском кризисе, не способен давать ей понятные и обоснованные ориентиры поступательного движения. Поэтому видение языка как иерархии уровней, находящихся в согласовании, или как системы, построенной на оппозиции, с одной стороны, и как устойчивого двуединства формы и соответствующего содержания, с другой, кажется для многих лингвистов разумным и достоверным.

Присущая нашей науке актуальность возвращения к старому понятна при прочтении следующей мысли философа и теоретика литературы Ж.-Ф. Лиотара: благие намерения «перевести стрелки часов на нулевую отметку», разорвать с традицией и установить абсолютно новый образ мышления непременно заканчиваются повторением прошлого [4].

Так же и в языковедении вновь и вновь по спирали возвращаемся к старому – к представлению формы и содержания в слитом двуединстве. По-видимому, эпистемологическими ошибками данного убеждения являются редукционизм мышления как следствие отсутствия строгости методов исследования, упрощение и односторонность и вера в то, что когницию следует подводить под строгие, формализованные схемы. Это положение вещей в современной теории языка метафорически можно сравнивать с работой неквалифицированного гидролога: он берет для анализа воду той или иной реки и постулирует перманентность ее результатов, при этом относительно ее качества и полезности как среды обитания для отдельного вида животного или растительного мира гидролог распространяет выводы на все живое в целом.

Если деметафоризировать смысл сказанного, речь идет о следующем. Мы традиционно полагаем, что тот или иной языковой знак используется

всеми носителями культуры в актуализации одного и того же содержания на протяжении определенного времени. Это представление было бы верным, если бы, во-первых, говорящие вкладывали в семантику знака только физические, материальные признаки соответствующих референтов; во-вторых, если бы процесс познания происходил во всех головах по единой универсальной логике.

Приоткрытие завесы невидимого таинства, происходящего в коре головного мозга, согласно ученым-психонейрофизиологам, позволяет утверждать, что это не так. Это не так, поскольку познание объектов внешнего мира – их восприятие, обработка и сохранение – происходит неосознанно и перманентно, в результате чего так же неосознанно и перманентно видоизменяется и дополняется предшествующее наполнение (а иногда и структура) формируемого в процессе познания ментального образа.

Вспомним предупреждение математика и философа Бертрана Рассела о том, что ошибочные интерпретации языка или его дефекты (повседневный язык неясен и двусмыслен) формируют «плохую философию» и что если бы люди вкладывали в свои слова один и тот же смысл, то было бы фатально… Рассел таким образом делится со своим убеждением в единичности объективируемой семантики: одна и та же форма каждый раз передает разные смыслы в силу впечатления от события, «единичного чувственного явления» [6, с. 26].

Похожее, но более современное, мнение звучит следующим образом:

1) противопоставление языка и мира, т.е. их однозначное соответствие, – методология, которая приводит к тупику;

2) «… если язык… не должен изменяться, тогда перестает действовать условие соответствия языка миру. Если же язык изменяется вместе с изменением мира, значит он – часть этого мира» [3, с. 147].

Вышесказанное наглядно иллюстрирует то, как в истории философии языка попытки «зрить в корень», т.е. обнаружить *реальное незеркальное* соотношение формы и семантики, всегда имели место быть, что говорит о прозорливости авторов идей. Что касается психолингвистики, проблема отношения мысли (психического феномена) и слова (явления материального порядка) занимала ключевое место в круге проблем с 1953 г. – с самого начала возникновения дисциплины [8, с. 5]. Однако, поскольку трудность описания мышления состоит в том, что оно не поддается измерению физическими способами, постольку знаменитая психофизическая проблема взаимодействия материи и психики не получила до сих пор окончательного решения.

Пожалуй, не будет ошибкой предположить, что необходимость изучения соотношения мысли и слова стала наиболее очевидной с осознанием того, что проблему значения следует решать психолингвистическими методами, в частности с учетом генезиса значения. В этом смысле идеи Л.С. Выготского оказались самыми полезными и продуктивными для раз-

вития психолингвистического подхода к онтогенезу речи. Любопытно, что под словом как языковым знаком он понимал все то, что охватывает и онтогенез, и актуалгенез – «единство мышления и речи, но и как единство обобщения и общения, коммуникации и мышления», но, с другой стороны, при всей широте функций слово «относится к сознанию, как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу» [1, с. 17, 336]. То, что в развитии речи участвует множество психических функций, вступающих с речью в сложные отношения, позволяет включать их в когнитивные механизмы языка и речи и рассматривать их в единстве с базовыми составляющими речи.

Таким образом, мы подошли к формулированию основной идеи, постулируемой в работе. В рамках новой – когнитивной – языковедческой парадигмы современная теория языка должна постепенно начать работу по выявлению перечня лингвистических проблем, подлежащих не только корректировке, но и новой постановке. Важно здесь пояснить, что речь не идет о парадигме лингвокогнитологов, разрабатывающих разнообразные версии о способах хранения продуктов познания в «языковом сознании» индивида, о структуре его языковой картины мира и т.д., а о нейробиологических исследованиях естественного семиозиса – порождения, производства и восприятия речемышления.

А начать надо как раз с пересмотра тезиса о прямой связи между единицами языка и их референтами в реальном мире, с одной стороны, и между внешним и внутренним миром, с другой. Признание и принятие данного положения, обоснованного нейрофизиологическими принципами речемыслительной деятельности, продиктует пересмотр установки на незыблемость функционального единства формы и семантики.

Принцип раздельного (и в анатомическом, и в физиологическом смыслах) «хранения» и активации статичных языковых, т.е. формальных, знаков и производства динамических семантических сущностей, переживаемых индивидом во время актуального семиозиса, является исходным ориентиром становления новой методологии. Признание этого принципа и дальнейшая программа описания языковых явлений на его основе подразумевают, как можно догадываться, далеко идущие последствия для развития лингвистики и смежных с ней наук.

Литература

1. Выготский Л. С. Мышление и речь / общ. ред. Г. Н. Шелогуровой. – 5 изд., испр. – М. : Лабиринт, 1999. – 352 с.

2. Деррида Ж. Письмо и различие / пер. с фр. Ю. Кралечкина. – М. : Академический проект, 2000. – 495 с.

3. Кравченко А. В. Знак, значение, знание : очерк когнитивной философии языка. – Иркутск : ОГУП «Иркутская обл. типография, 2001. – 261 с.

4. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / пер. с фр. Н. А. Шматко. – М. : Ин-т эксперимент. социологии; СПб. : Алетейя, 1998. – 160 с.

5. Постмодернизм : энциклопедия / отв. ред. А.И. Мерцалова. – Минск : Интерпрессервис-Книжный Дом, 2001. – 1040 с.
6. Рассел Б. Исследование значения и истины / пер. с англ. Е.Е. Ледникова, А.Л. Никифорова. – М. : Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. – 400 с.
7. Сысоева Л.С. Сказ языка как сказ бытия: от Хайдеггера до постмодернизма // Santalka. Filosofija. – Vilnius, 2007. – Т. 15. – № 1. – С. 11-24.
8. Ушакова Т.Н. Структуры языка и организация речевого процесса // Язык, сознание, культура / под ред. Н.В. Уфимцевой, Т.Н. Ушаковой. – М.; Калуга, 2005. – С. 7-19.
9. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. с фр. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой; вступ. ст. Н.С. Автономовой. – СПб. : A-cad, 1994. – 406 с.

Дашинимаева Полина Пурбуевна, доктор филологических наук, доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации Бурятского государственного университета.
E-mail: polinadash58@mail.ru

УДК 811.133:1''44

© *Г.С. Доржиева*

Функциональные и формальные признаки образной топономинации

В статье рассматриваются функциональные и формальные признаки, характеризующие географические объекты и связанные с их восприятием сенсорно-рецептивные анализаторы. Различия в членении и обозначении окружающей действительности, различные картины мира мотивированы внеязыковой действительностью и типом этнического сознания, что находит свое отражение на уровне их лингвокультурного содержания.
Ключевые слова: этнолингвистика, теория номинации, региональная топонимия, метафора.

G.S. Dorzhieva

Functional and formal signs of the metaphorical nomination

The article deals with the functional and formal features that characterize geographic entity, and related to their perception of the sensory-receptive analyzers. Differences in the partitioning and the designation of reality, different picture of the world are motivated by extralinguistic reality and the type of ethnic consciousness, which is reflected at the level of their cultural and linguistic content.
Keywords: ethnolinguistics, the theory of the nomination, a regional place names, metaphor

Метафора – универсальное явление в языке. Ее универсальность проявляется в пространстве и во времени, в структуре языка и в функционировании. Исследование различного рода ассоциаций чрезвычайно важно при изучении любой номинации, в том числе и ономастической. Ассоциации, как имевшие место в момент создания имен собственных, так и связанные с именами в процессе их употребления в речи, отличаются разнообразием. Они составляют комплекс, намного превосходящий круг ассоциаций нарицательных имен [9, с. 284-285]. Метафора, как результат семантической деривации, является одним из кодов осмысления окружающего мира.

О явлении семантической деривации в топонимии писали многие отечественные и зарубежные исследователи: П. Лебель (P. Lebel, 1956), А.К. Матвеев (1967, 1971, 1977, 1979), Е.С. Отин (1967, 1970, 1980), О. Лоньон (Au. Lognon, 1968), Ю.А. Карпенко (1970, 1976, 1986), В.Д. Пахомова (1970), В.Д. Бондалетов (1974), Э.М. Мурзаев (1974), Г.И. Несина (1977), Н.В.Ткаленко (1979, 1980), К. Морисоно (C. Morissoneau, 1978), С. Бле (S. Blais, 1979, 1983), А.Н. Молчанова (1981, 1982, 1985), В.Н. Топоров (1982), М.В. Горбаневский (1982, 1992), Ж. Пуарье (J. Poirier, 1982), М.В. Голомидова (1987), В.В. Ощепкова (1988), Э.М. Вергун (1988), Р. Тюркот (P. Turcotte, 1991), Е.Л. Березович (1998), М.Э. Рут (1992, 2008), В.В. Алпатов (2010). Из последних исследований в данной области следует особо отметить монографию М.Э. Рут «Образная номинация в русской ономастике» (2008), где обобщен большой теоретический материал по проблемам формирования и функционирования образных номинативных единиц, проведен глубокий, комплексный анализ и детальная разработка общей модели образной номинации как источника реконструкции народной модели мира [8].

Перенесение названий с однородных объектов на единичные географические на основе смежности, сходства и т.п. позволяет исследователям включить в данную группу топонимические метонимии и метафоры. Топонимы, образованные с помощью онимизации и трансонимизации, омонимичны тем апеллятивам, от которых они произошли. По мнению ведущего российского ономатолога А.В. Суперанской, «переносное» значение в ономастической номинации нельзя называть метафорическим, так как в основе метафоры лежит образ; метафорическое переносное значение основывается на сходстве вещей (по цвету, форме, характеру и т.п.). Если даже собственные имена обязаны своим происхождением метафоре, можно говорить лишь об их мотивировке, но не об их метафоричности. Стилистические фигуры (метафора, метонимия) сохраняются в именах нарицательных и теряются в именах собственных, где они могут присутствовать лишь в момент первичного наименования как их мотивировка [9, с. 243].

Как известно, языки по-разному «расчленяют» мир и обозначают предметы. Существующие различия в членении и обозначении окружающей действительности, различные картины мира мотивированы внеязыковой действительностью и типом этнического сознания, что находит свое отражение на разных уровнях языка, в том числе и на уровне их лингвокультурного содержания. Особую роль в этой трансляции культурно-национального самосознания народа и его идентификации как такового играет, в частности, национальный топонимикон, воплощающий его культурно-национальное мировоззрение. Как языковой знак, топоним передает концепт, демонстрирующий образ ситуации, где ситуация является отражением языковой картины мира, так как объединяет восприятие, мышление и язык.

Топонимические метафоры возникают в национальных языках на основе такого образного представления действительности, которое отображает обиходно-эмпирический, исторический, материальный, социальный или духовный опыт языкового коллектива, который, безусловно, связан с его культурными традициями, так как субъект номинации и речевой деятельности – это всегда субъект национальной культуры. Система образов, закрепленная в топонимии данного языкового сообщества, может свидетельствовать о его этнокультурном опыте и традициях.

Метафора возникает только на базе образных сравнений, однако в отличие от сравнения метафора создает бесчисленное множество значений и их оттенков. Возможности появления топонимической метафоры и ее интерпретация в данном лингвистическом сообществе зависит от целого ряда исторических, социокультурных, этнических, временных и прочих факторов. Во многих языках, независимо друг от друга, развиваются сходные метафорические обозначения: одни и те же образы и метафорические сдвиги постоянно воспроизводятся в языках. При семантико-сопоставительном анализе метафор В.Г. Гак различает: 1) типы переносов, которые являются универсальными (человек→животное, животное→человек, животное→растение, артефакт→человек), синестетические переносы; 2) подтипы переносов, которые менее универсальны и ограничиваются определенной лексико-семантической группой (ЛСГ) слов. Это метафоры, образованные от глаголов движения, от терминов родства, от наименования посуды, переносы из области спорта, охоты, транспорта и т.п. Для каждого языка можно выявить характерные ЛСГ, поставляющие метафорические номинации, и ЛСГ, получающие таковые; 3) наименее универсальны виды метафор, объединяющие два слова и выражающие определенные понятия. Метафоры могут отражать общие ассоциации, свойственные народам, говорящим на разных языках [4, с. 496-497].

Начальным шагом на пути к образной номинации становится мыслительный акт – акт установления ассоциативной связи двух предметных образов, обладающих тождественными, с точки зрения номинатора, свойствами. Язык является средством закрепления в сознании этой межобразной связи, ее расчлененного осмысления. Антропоморфность сознания человека проявляется в том, что природа, космос, социальная реальность осмысляются через определенную установку – помещение человека в центр мироздания. Все явления мира воспринимаются с точки зрения опыта и ценностей человека.

В формировании пространственных номинаций важную роль выполняют сенсорно-рецептивные анализаторы. Из шести чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, температурные ощущения), используемых человеком в метафорической номинации, переносы чаще совершаются от последних трех к первым, чем от первых трех к последним. Это объясняется тем, что первые три чувства более сложны (Ульман называет их «верхни-

ми»), они осуществляются вне непосредственного контакта с объектом [Цит. по: 4, с. 484]. *Tête* ‘голова’ порождает два типа метафорического переноса: 1) понятие ‘оконечность’, которое может осложняться понятием ‘вертикальность’ (вершина горы, верхушка дерева) или ‘горизонтальность’ (передняя, головная часть вагона). В топонимии реализуется сема ‘оконечность’ чаще по отношению к оронимам. В слове *bouche* ‘рот’ осуществляется перенос от понятия ‘рот’ к понятию ‘устье реки, узкий вход’ и является гидрографическим термином.

М.Э. Рут пишет о двух процессах, обусловивших и сформировавших внекатегориальное предметное отождествление [8, с. 29-30]: 1) на основании одного признака, в нашем материале это *Lac Fer à Cheval* ‘озеро’ и ‘подкова’ (зрительная ассоциация по форме объекта); 2) мифологическое предметное отождествление, предполагающее мотивированное мифом объяснение явлений действительности (*Cap au Diable* ‘мыс дьявола’, *Windigo* (р) алг. ‘монстр’. В рамках мифологического мышления человек сравнивает белопенные потоки воды с барашками (*Mutton Bay* англ. ‘залив’ и ‘бараны’, *Sault-au-Mouton* фр. ‘водопад’ и ‘бараны’), шум водопадов с мычанием быка/коровы (*Rapides-de-la-Vache-Caille* ‘пороги’ и ‘мычание коровы’) или топотом лошадей (*Rapides Course de Chevaux* ‘пороги’ и ‘топот лошадей’) и т.д. Установление мотивов и способов образования топономинации позволяет выявить особенности мировидения социума, его этнической картины мира.

Топоним с предметной внутренней формой конкретно-предметного характера может возникнуть в силу различных номинативных мотивов:

А) внутренняя форма отражает связь номинируемого объекта с тем или иным предметом по смежности, например: *Rivière Pot au Beurre* ‘река’ и ‘горшок с маслом’ (летом квебекцы хранили масло в реке в кувшинах/горшках), *Rivière à la Scie* ‘река’ и ‘пила’ (в 1706 г. на берегу реки построен лесопильный завод), *Mont Handkerchief* ‘носовой/шейный платок’ (в середине XIX в. здесь отвели земли ирландским колонистам, которые с помощью носового платка на конце высокого шеста подавали своим условный знак). Как следует из примеров, метафорические переносы соединяются с метонимическими. Этот способ один из самых распространенных в квебекской топонимии.

Б) номинация связана с конкретной разовой ситуацией, в центре которой оказался тот или иной предмет: *Lac Cent Dix Piastres* – по легенде в конце XIX в. американский турист во время рыбалки якобы потерял кошелек с 110 долларами. Этот случай, рассказанный монтанье из индейской резервации Бетсиамитс, послужил мотивом именования озера. В XVII в. американские колонии пользовались испанскими монетами, пиастрами, которые долгое время были в обращении в Новой Франции. В XIX в. пиастр становится французским эквивалентом доллара, законной канадской монеты. В следующем веке пиастр полностью вытеснен долларом и приоб-

ретает в речи фамильярный оттенок.

В формировании метафорических пространственных номинаций необходимо учитывать тип номинированного географического объекта и его связь со сферами образного отождествления. Метафорическая топономинация включает в свою сферу обычно небольшие по размеру объекты: горы, камни, скалы, озера, ручьи, доступные синестетическому восприятию окружающего пространства. Данный тезис можно подкрепить появлением образного гидронима *Lac Trompe-la-Vue* 'озеро' и 'обман зрения': это озеро состоит из двух частей, каждая длиной в один километр. Они находятся под углом друг к другу в 120°, частично закрытые косами. Человек, находясь в середине одной части озера, не видит другую, что послужило мотивом номинации.

Признаки, описывающие географические объекты, можно условно разделить на две группы: *функциональные признаки*: а) слуховые; б) акциональные; *формальные признаки*: а) геометрические; б) морфологические; в) структурные; г) топографические.

Функциональные признаки являются *динамическими*, они характеризуют способность сравниваемого объекта выполнять различные действия и конкретные способы реализации этой способности: *Matonipi* кри 'озеро плачет', *Matalik* (р) мик. 'прыгающая вода', *Ruisseau Jureux* 'ручей вопящий, кричащий', *Anse Chatouilleuse* 'бухточка' и 'щекочущая (вода)', *Le Moine-Qui-Prie* 'молящийся монах'. *Формальные признаки* являются, напротив, в прототипическом случае статическими. Они характеризуют физические свойства объекта, его *морфологические* характеристики, например, твердый/мягкий, жидкий/сыпучий и т.п.: *Batiscan* (р)'сушеное мясо, растертое в порошок', *Rivière de la Galette* 'река' и 'галета, сухая лепешка', *Dubonnet* (х) 'вязаная шерстяная шапка конической формы'; *геометрические характеристики* (форма, размер): *Tarpangajuit* (б) инуит. 'те, которые похожи на рожок или конус, у которого один конец шире другого', *Les Pyramides* (г) 'пирамиды'; *структурные характеристики*, например, наличие частей, внутренней структуры: *Lac au Menton* 'озеро' и 'подбородок' (очертание берега озера напоминает мужской профиль: высокий лоб, перпендикулярный нос и длинный подбородок); *топографические характеристики*, то есть расположение относительно других частей объекта, степень их связности и др.: *Akuliaq* инуит. 'между двух глаз' (плато находится между двух рек), *Tadoussac* (сел. мун.) монт. 'женская грудь' (по форме двух холмов), *Ile à Deux Têtes* 'остров' и 'две головы' (две небольшие горы на северной и южной оконечности острова).

Способ деления признаков объекта на формальные и функциональные связан с их восприятием органами чувств, так как одни органы чувств лучше реагируют на наличие или проявление формальных признаков, а другие – функциональных. Например, *слух* более ориентирован на функциональные свойства (звук, треск, шорох, хлопанье, журчанье), *зрением* же

воспринимаются характеристики обоих типов. Визуально человек определяет не только форму или размер видимой части объекта, но и его движение. Аналогично зрительным рецепторам ведет себя *осязание*. С одной стороны, оно реагирует на формальные характеристики, такие как текстура (свойство поверхности данного объекта: твердость/мягкость и т.д.), с другой стороны, тактильные ощущения возникают у человека при воздействии извне (температурные изменения, колебания воздуха и т.д.). Тем самым, в сферу осязания попадают и функциональные характеристики: *Baie des Chaleurs* 'залив' и 'жара', *Les Faucilles* (пор.) 'серпы' (прибрежные тростники остры, как серпы), *Mont-Tremblant* 'дрожащая гора' (со слов индейцев из недр горы раздается глухой шум и те, кто взбирался на нее, ощущали, как земля дрожала под ногами). Что же касается запахов и вкусовых ощущений, как показывает практический материал, они характеризуют географические объекты в меньшей степени: *Rivière à l'Huile* фр. 'река' и 'вкус растительного масла', *Povungnituk* (р) инуит. 'это пахнет гнилым мясом'.

Человек исходит из своих ощущений в восприятии пространства, создавая определенные эталоны его измерения и фиксации, которые он сам привносит в мир и которые обусловлены его человеческой природой и принципами жизнедеятельности. С визуальным признаком «форма» связаны свойства антропоцентрического восприятия географического объекта, представленные в бинарных оппозициях: *большой/маленький, верхний/нижний, левый/правый, передний/задний, прямой/кривой, плоский/объемный* и др.: *Le Grand Pisseux, Le Petit Pisseux*; *Les Petites Portes de l'Enfer, Les Grosses Portes de l'Enfer* и др. Группа из пяти островов *Les Pèlerins* 'пилигримы, паломники', дифференцирует каждый из объектов на основе геометрических признаков: 'большой' *Le Gros Pèlerin,* 'маленький' *Le Petit Pèlerin*, 'посередине' *Le Pèlerin du Milieu,* 'длинный' *Le Long Pèlerin,* кроме *Le Pèlerin du Jardin*, так как на самом деле это каменистый остров, где растут редкие сосны, напоминающие издали сад. Признак формы, таким образом, является комплексным и имеет несколько аспектов.

Некоторые местные географические термины, возникшие в результате образной номинации, имеют точечный ареал (*cran* фр. 'зарубка, надрез', квеб. 'рассеченная перпендикулярно скала'), другие узуальны в общефранцузском языке (*nez* 'нос', *pied* 'подножие', *bras* 'рукав', *tête* 'вершина'). Например: *Chute du Cran de Fer, Lac du Cran Cassé, Rapides des Crans Serrés* (пороги находятся между двумя теснинами). Этот образ в квебекской топонимии передается и описательно: скала *Percé* 'пронзенная, просверленная' имеет несколько проходов, через главный из них свободно проходят парусные лодки с высокими мачтами; ойконим *Le Rocher Fendu* длительное время был известен как *Split Rock* англ. 'расколотая скала'.

В основе пространственно-практической ориентации человека лежат его геометрические представления о мире. Геометрические номинации имеют широкое распространение в характеристике географических объектов и

являются неотъемлемой частью языковой картины мира. Способы представления признака «форма» географических объектов делятся на стандартные значения:

• *геометрические* – круг, шар, прямая, кривая, треугольник, пирамида, например: *Lac-Carré* 'квадратное озеро', *Coin-du-Banc* 'угол' и 'песчаная мель', *Lac Coudé* 'озеро' и 'локоть', *Lac en Croix* 'озеро' и 'крест';

• *негеометрические,* основанные на сравнении – «похожий на блюдце, похожий на шляпу». Негеометрические значения, или негеометрические способы представления формы географического объекта, связаны с сопоставлением его формы с формой некоторого материального объекта. Базой сравнения выступают характерные, стереотипные для данной культуры эталоны: *Le Chaudron* (г) 'большой железный/чугунный котел для варки мыла или кленового сахара', *Mouchalagane* (р) 'большая берестяная миска', *Le Pain de Sucre* (х) 'сахарная голова', *Le Chapeau* (ск) 'шляпа', *Le Chapeau de Castor* (г) 'бобровая шапка', *Wawati (*оз). инд. 'северное сияние или всполохи'. Именно антропоцентричность лежит в основе наиболее продуктивных способов формирования языковой картины мира. Р.А. Будагов писал: «Слово многогранно не только в его современном функционировании, но и в процессе его же исторического развития. …чем более отвлеченным является понятие, передаваемое с помощью слова, тем большее значение приобретает «чувственная форма» этого слова» [3, с. 90]

При определении статуса топонимов, омонимичным образным географическим терминам, М.Э. Рут считает, что подобные термины нередко являются результатом апеллятивации соответствующих топонимов: объект сложной формы получает образное название. Если ландшафт данной местности повторяет сходную форму, то готовый образ дублируется и возникает образный географический апеллятив [8, с. 83]. Примеры из нашего материала: *bras mort* m 'старица; слепой рукав реки'; *chaîne* f 'цепь, ряд' (прям.; перен. (гор, озер); *crête* f – 1) гребень, гребешок у птиц; 2) гребень, хребет (гор); *goulet* m – от устар. *goulot* 1) горлышко (бутылки, графина); 2) *общефр.* узкий вход в гавань; 3) *квеб.* узкий проход между каким-либо водным объектом и морем; *pied* m 1) нога, ступня; 2) подножие (горы).

По определению В.Н. Телия, это самая простая метафора – индикативная (собственно опознавательная), в ее основе лежит аналогия – нестрогая эквивалентность, правилом для которой является принцип фиктивности – мощное средство познания. Метафорический процесс всегда субъективен. Человек измеряет все формы бытия в масштабе своего опыта и знания и по своему образу и подобию. Богатство ассоциаций, то есть разветвленность аналогий, зависит как от фоновых знаний номинатора, так и качества номинируемого объекта [10, с. 40]. Например, компонент 'рог' во французском ороними *Vallée du Cor* 'долина' и 'рог' появился на основе звуковых ассоциаций, в то время как инуитский гидроним *Tarpangajuit* (б) инуит. 'те, которые похожи на рожок или конус, у которого один конец шире друго-

го', воспроизводит зрительные ассоциации с геометрическими параметрами. Принцип фиктивности вводит в процесс метафоризации субъекта номинации, который определяет не только возможность аналогии объектов, но и антропометричность, то есть их соизмерение в соответствии с объемом знаний и представлений субъекта, а также с системой национально-культурных ценностей и стереотипов индивида.

Литература

1. Алпатов В.В. Английские метафорические топонимы с христианскими ассоциациями // Вопросы ономастики. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2010. – № 2(10). С. 86-93.
2. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. – М., 1990. – С. 5-32.
3. Будагов Р.А. Что такое развитие и совершенствование языка? – М.: Наука, 1977. – 262 с.
4. Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 768 с.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990.
6. Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – 176 с.
7. Религия в истории и культуре: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 591 с.
8. Рут М.Э. Образная номинация в русской ономастике. – М., 2008. – 192 с.
9. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 368 с.
10. Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 26-52.
11. Noms et lieux du Québec: dictionnaire illustré. Québec : Publications du Québec, 2006. 925 p.

Сокращения

алг. – язык алгонкинов, одного из коренных народов Канады
англ. – английский язык
г. – гора
инуит. – язык инуитов, одного из коренных народов Канады
квеб. – квебекский французский язык
мик. – язык микмаков, одного из коренных народов Канады
монт. – язык монтанье, одного из коренных народов Канады
оз. – озеро
пор. – пороги
сел. мун. – сельский муниципалитет (административно-территориальная единица в Квебеке)
ск. – скала
р. – река
фр. – французский язык
х. – холм
f – féminin (женский род)
m – masculin (мужской род)

Доржиева Галина Сергеевна, доктор филологических наук, руководитель Центра стратегических востоковедных исследований Бурятского государственного университета.
E-mail csvi@yandex.ru

УДК 811

© *Л.Н. Омельченко*

Тексты-характеристики в системе функционально-смысловых типов речи

Статья посвящена проблеме классификации текстов типа «описание» и «повествование» на разновидности. Тексты-характеристики определяются как тексты синкретичного типа, поскольку имеют семантические и структурные признаки описания, повествования и рассуждения.

Ключевые слова: текст, описание, повествование, рассуждение.

L.N. Omel'chenko

The texts of characterization in the system of the functional-semantic types of speech

The article is devoted to the problem of the classification of the narration and description texts. The texts of the characterization defined as the text of syncretic type because it has a semantic and structural features of narration, description and discourse.

Keywords: text, description, narration, discourse.

В теории функционально-смысловых типов речи установлено, что описание и повествование как модели текстов констатирующего типа противопоставлены рассуждению как модели текста аргументирующего типа; описание и повествование образуют коррелятивную оппозицию в выражении значений синхронности/ диахронности явлений действительности [1].

Данная статья посвящена проблеме классификации описательных и повествовательных текстов на функционально-смысловые разновидности. Цель статьи – определить место характеристики в системе функционально-смысловых типов речи.

Основанием классификации разновидностей описания и повествования в данной работе выступает семантический признак временной локализованности/ нелокализованности явлений, отражающий один из аспектов понятия времени. Данный признак определяется в лингвистике как один из обязательных актуализационных (то есть передающих соотнесенность содержания высказывания с действительностью, в том числе и с позицией говорящего) признаков любого высказывания [2, с. 51]. В работах А.В. Бондарко, посвященных проблемам функциональной грамматики, семантический признак временной локализованности трактуется как «единство противопоставленных друг другу значений: 1) конкретности, определенности местоположения действия и ситуации в целом в однонаправленном течении времени, прикрепленности к какому-то одному моменту или периоду; 2) неконкретности, неопределенности (в указанном смысле), то есть неограниченной повторяемости, обычности (узуальности) или вре-

менной обобщенности («вневременности», «всевременности»)» [3, с. 210].

Ведущими для повествовательных текстов можно считать значение локализованности действий во времени и значение узуальности (повторяемости) действий, поскольку в реальной действительности диахронные действия могут происходить либо в один наблюдаемый период времени, либо в разные периоды времени, повторяющиеся с определенной эпизодичностью.

Классификация описательных текстов на основе характера синхронных признаков описываемого предмета охватывает следующие разновидности описания: 1) визуальное описание, номинирующее локализованные во времени признаки объекта, то есть «конкретные, наблюдаемые в определенный момент времени» [4, с. 20]; 2) характеристика как перечисление не локализованных во времени признаков, то есть «постоянных или обычных, потенциальных и устойчиво возобновляемых свойств объекта, относящихся к разным периодам его существования и сферам проявления» [4, с. 20].

Визуальное описание представляет ядерные признаки текстов типа «описание». Тексты с функцией характеристики предмета имеют семантические признаки описания и признаки других типов речи, образуя периферию поля описания.

В описательной характеристике объектом речи являются не только внешние, воспринимаемые посредством органов чувств, условно говоря, видимые параметры предмета, но прежде всего его внутреннее содержание, сущность предмета, постигаемая в процессе познания предмета, в процессе обобщения его конкретных проявлений. Существенные признаки предмета, его качества, имеют вневременный или даже всевременный характер. Так, признаки водорода как химического элемента, перечисленные в следующей характеристике, имеют всевременный характер: *«Водород – самый распространенный элемент в космосе. В недрах звезд находится в виде протонов. Входит в состав основного вещества Земли – воды. Содержится в целом ряде соединений, входящих в состав углей, нефти, природного газа, глины, а также всей биосферы – животных и растений».* (Химия: справочные материалы).

В качестве характеристики в данной работе рассматривается не только перечисление качеств предмета, но и характеристика, опирающаяся на исторические данные о предмете, биографические сведения о человеке. Дело в том, что в человеческой биографии выделяются определенные этапы, связанные с основными событиями его жизни (дата рождения, периоды учебы, профессиональной деятельности, устройство семейной жизни, дата смерти). Естественно, что в реальной действительности эти события происходят последовательно, сменяя одно другое, возможно, с большими временными интервалами. Наполняя жизненное пространство человека, события тем самым характеризуют его: «Для человека жизнь складывается из событий, но ее анкетное представление превращает события в факты» [5, с. 103].

Характеристика понимается расширенно, не только как оценка человека с морально-этической точки зрения, но и как отражение основных «вех» его жизни, поскольку они также определяют человека постоянно, являясь его отличительными чертами. Вместе с тем характеристика биографического типа близка в структурно-грамматическом плане к повествованию; в ней используются глагольные формы совершенного вида, темпоральные детерминанты, а также неполные предложения с незамещенной позицией подлежащего, например: *«Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятисотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один... Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился»*. (М. Шолохов. Судьба человека.)

Особенность этой разновидности описания заключается в том, что признаки, свойственные объекту, отличаются разновременностью появления, но в конечном счете синхронны в тексте-характеристике описываемого человека. По-видимому, в квалификации подобных переходных случаев надо идти «от смысла к форме». Коммуникативная цель создания текстов-характеристик – не перечисление последовательных действий субъекта, а выражение его сущности, его существенных особенностей, в частности, факты биографии позволяют идентифицировать лицо, этапы формирования того или иного предмета осознаются как его внутренние качества. Не разрушают семантику вневременности контекста и темпоральные детерминанты, поскольку они обозначают начальную или конечную временную точку существования характеризующего признака либо достаточно протяженный для такого признака отрезок времени.

Следует отметить, что тексты с функцией характеристики человека близки к повествованию узуального типа [6, с. 49]. Говоря о языковых способах выражения значения синхронности в описании-характеристике, мы должны признать, что среди них есть и такие, которые присущи повествовательному тексту, в частности преобладание моносубъектной структуры, в числе синтаксических средств выделяем неполные двусоставные предложения с незамещенной позицией подлежащего.

Однако при этом между характеристикой как описательной разновидностью и повествованием сохраняется общесмысловое различие, обусловленное коммуникативными намерениями говорящего. В описательной характеристике говорящий стремится дать более или менее полное представление об объекте действительности, называя ряд его конститутивных признаков; в узуальном повествовании сообщается о развивающейся ситуации. Кроме того, в характеристике часто выражается оценка объекта со стороны говорящего. В логике оценка понимается как «такое определение объекта,

при котором выявляется его положительное (отрицательное) значение для субъекта, при условии, что объект способен удовлетворять потребности субъекта» [7, с. 12]. Повествовательный текст в соответствии со своей функциональной направленностью не содержит такой оценки, выраженной предикативной конструкцией. Приведем пример художественной характеристики, в которой эксплицирована оценка говорящего: *«Одним из поздних учеников Зубра был Анатолий Никифорович Тюрюканов. Большой, мужиковатый, с физиономией грубой, как он сам говорил, «шлакоблочной», по виду недалекий, простак, по выговору работяга, из разнорабочих – словом, не скажешь, что ученый, да к тому же тонкий, культурнейший человек».* (Д. Гранин. Зубр.)

Материал исследования показал, что характеристика может содержать обоснование оценки, вообще субъективной по своей природе. Наличие оценки связывает описательный текст с текстами типа «рассуждение». Так, в описании-характеристике лица в целях доказательства перечисляемых внутренних черт характера человека могут приводиться соответствующие доводы, примеры, то есть обоснование оценки, которое является оправданным, поскольку оценка человека, за исключением эстетической, всегда является результатом оценки его действий и поступков. В контекст характеристики могут включаться примеры поведения человека, «некоторым образом организованных действий, состав которых зависит от цели, мотива, рода деятельности, мировоззрения и социальной роли» человека [9, с. 29].

Предложения типа *Ян добрый, умный, спокойный, смелый*, по замечанию А. Вежбицкой, являются скрытыми «индукциями» (обобщениями), так как в них «предицируемый признак приписывается, строго говоря, не Яну, а множеству событий, которые тем или иным образом связаны с Яном (множество, которое нельзя просто перечислить, так как его нельзя приравнять ни к какому закрытому списку)» [10, с. 255].

В следующем тексте художественной характеристики, имеющей моносубъектную структуру, наблюдаемые признаки человека перечисляются для того, чтобы обосновать общую оценку персонажа «...Следопыт, настоящий лесной крестьянин-охотник»: *«/Дверь медленно отворяется и затворяется, и я опять остаюсь один, все думая о Митрофане./*

Это был высокий и худой, но хорошо сложенный мужик, легкий на ходу и стройный, с небольшой, откинутой назад головой и с бирюзово-серыми, живыми глазами. Зиму и лето его длинные ноги были аккуратно обернуты серыми онучами и обуты в лапти, зиму и лето он носил коротенький изорванный полушубок. На голове у него всегда была самодельная заячья шапка шерстью внутрь. И как приветливо глядело из-под этой шапки его обветренное лицо с облупившимся носом и редкой бородкой! Это был Следопыт, настоящий лесной крестьянин-охотник, в котором все производило цельное впечатление: и фигура, и шапка, и заплатанные на коленях портки, и запах курной избы, и одностволка. Появляясь на пороге моей комна-

ты и вытирая полою полушубка мокрое от метели коричневое лицо, он тотчас же наполнял комнату свежестью лесного воздуха» (И. Бунин. Сосны.)

Итак, в общесмысловом плане характеристика является описательной разновидностью, так как в ней перечисляются признаки предмета, но эти признаки имеют постоянный характер и выражают проявление самого предмета описания. При этом тексты с функцией характеристики одного предмета имеют моносубъектную структуру, что сближает их в структурном плане с моносубъектными повествовательными текстами.

Вместе с тем в текст характеристики могут быть включены элементы рассуждения с целью обоснования субъективной оценки. Представляется, что место характеристики в системе функционально-смысловых типов речи можно определить, опираясь на понятие синкретизма: «Синкретизм – совмещение (синтез) дифференциальных структурных и семантических признаков единиц языка, противопоставленных друг другу в системе языка и связанных явлениями переходности. Это разного рода гибридные (контаминационные) образования» [11, с.446]. В аспекте теории синкретизма языковых явлений, разрабатываемой В.В. Бабайцевой [10], квалифицируем характеристику как констатирующий текст синкретичного типа, находящийся на периферии поля описания и обладающий структурными признаками текстов типа «повествование» и типа «рассуждение».

Литература

1. Нечаева О.А. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение): дис. ... д-ра филол. наук. – М., 1975.

2. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Пространственно-временная локализация как суперкатегория предложения // Вопросы языкознания. – 1989. – №3. – С.51-61.

3. Бондарко А.В. Временная локализованность // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. – Л., 1987. – С.210-233.

4. Хамаганова В.М. Описательный текст в семиотическом аспекте. – Улан-Удэ, 2000.

5. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М., 1988.

6. Омельченко Л.Н. Неполные предложения в повествовательном и описательном текстах. – Улан-Удэ, 2010.

7. Ивин А.А. Основания логики оценок. – М., 1970.

8. Гришаева Л.И. Языковые средства выражения социальной оценки действий человека // Актуальные направления современной лингвистики. – М., 1989. С.26-31.

9. Вежбицкая А. Дескрипция или цитация // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.13. Логика и лингвистика (Проблемы референции). – М., 1982. С.237-262.

10. Бабайцева В.В. Синкретизм // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. С. 446.

11. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. – М., 2000.

Омельченко Лилия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Бурятского госуниверситета. E-mail: omel03@mail.ru

УДК 81: 398

© *Т.В. Ханташкеева*

Проблема эволюции ценностных ориентаций языковой личности (на материале языковых единиц любовного заговора)

В статье рассматривается проблема выявления ценностных ориентаций языковой личности и их эволюции, представленных в контекстах с союзом «чтобы» любовного заговора

Ключевые слова: языковая личность, проблема эволюции, мифологические контексты, языковые средства выражения

T.V. Khantashkeeva

Problem of evolution of value orientations of the language personality (based on the language of the love charms)

The article is devoted to the problem of value orientations of the language personality and their evolution presented in the love charms contexts

Keywords: language personality, problem of evolution, mythological contexts, linguistic means of expression

Антропологический поворот в лингвистике, ставящий на первое место homo loquens как объекта и субъекта исследования, обусловливает необходимость выявления факторов, способствующих речевой деятельности человека, в том числе ее изменениям на оси времени.

Занимая особое место среди других произведений заговорной традиции благодаря иному характеру сакральной коммуникации, где объектом воздействия становится другой человек, любовные заговоры представляют интерес в качестве благодатного материала для реконструкции ценностных ориентаций языковой личности как члена социума, выявления объективных и субъективных факторов, влияющих на мотивационную сферу индивида. Объективные возможности осуществления желаний актора (С.Б. Адоньева) заговора связаны с социальными регуляторами – моральными, этическими нормами, выработанными в той или иной культуре. В качестве важнейшего субъективного фактора, способствующего осуществлению желаний личности, выступает его воля, входящая в соприкосновение с волевой сферой другого человека или общества в целом. Весьма актуальным поэтому представляется исследование языковых средств, используемым актором заговорного текста как языковой личности.

Источником для выборки послужили контексты с союзом *чтобы* любовных заговоров, опубликованных на протяжении XIX-XXI вв. [1]. Различная хронологическая отнесенность этих текстов позволяет учесть отмеченное Ю.М. Лотманом свойство феноменов культуры как совокупности всего духовного опыта человечества. В отличие от природных или техни-

ческих процессов, сохраняющих лишь результаты естественного отбора или технического прогресса, «все, что содержится в актуальной памяти культуры, прямо или опосредованно включается в ее синхронию» [2, с. 169]. Данное обстоятельство позволяет рассмотреть языковые средства, используемые актором заговорного текста, как языковой личности, подверженной изменениям ценностных установок индивида и социума во временно́й перспективе. В истории бытования любовных заговоров как текстов заговорной традиции, представляющих собой совокупность разновременных произведений, передаются также и особенности мировосприятия различных эпох. При этом, на наш взгляд, несмотря на признанную устойчивость этих текстов, выделяется несколько этапов их развития, связанных с эволюцией общественного сознания.

С позиций языковой личности, участвующей в процессе ритуального воспроизведения сакрального текста, весьма важной является характеристика мифа как одного из важнейших способов познания мира и воздействия на него. Благодаря мифу, как писал М. Элиаде, возникает возможность узнать «происхождение» вещей, что позволяет овладеть и манипулировать ими по своей воле. Речь идет не о «внешнем», «абстрактном» познании, но о познании, которое «переживается» ритуально, во время ритуального воспроизведения мифа или в ходе проведения обряда (которому он служит основанием). Более того, воспроизведение «знания», представленного в мифе, сопровождается обретением магико-религиозного могущества, поскольку знание о происхождении какого-нибудь предмета, животного или растения равнозначно тому, что человек приобретает над ними магическую власть, которая позволяет господствовать и по своему желанию управлять их воспроизведением и размножением [3, с. 18-28].

В исследуемом материале, как и в целом в любовном заговоре, находит отражение преимущественно мифологическое сознание. Будучи одними из древнейших мифологических текстов, любовные заговоры совмещают в себе две категории мифов – этиологические, одним из важнейших признаков которых является идея сотворения и бытийности мира, и эсхатологические – мифы о его исчезновении, часто временном.

Новый мир, соответствующий желаниям субъекта любовного заговорного текста, создается в неразрывной связи с объектом заговора. Именно воздействие на объект – будь то отдельный индивидуум, на которого направлены заговорные пожелания, или же группа возможных лиц (потенциальных женихов / невест), и даже весь социум как совокупность разнообразных слоев общества, составляющих целостный объект воздействия благодаря их перечислению в едином контексте, – творит новую действительность. Поскольку мифологема творения мира, переданная через описания его становления и существования, тесно соприкасается со своей противоположностью – гибелью окружающего мира, и поскольку человек как его неотъемлемая часть претерпевает те же изменения, что и природный мир, в

любовном заговоре воссоздается поэтапное созидание / исчезновение этого микрокосма.

В ходе анализа было выявлено свыше 500 словоупотреблений опорных лексем, организующих оптативную семантику заговорных пожеланий с союзом *чтобы*; при этом выяснилось, что основное место в пожеланиях актора заговора занимает процесс распадения прежнего гармоничного мироустройства объекта магических действий. Из всей массы подобных контекстов наибольшей частотностью отличаются пожелания, связанные с небытием объекта заговора: *чтобы не был, не жил, не ел, не пил* и пр. (190 ед.), – при условии сохранения отдельности, самостоятельного существования заговариваемой личности. Предпочтение указанных лексем с семантикой бытия / небытия согласуется с мнением М. Элиаде о том, что представитель архаического общества воспринимает себя порождением целого ряда мифических событий, и мифы выступают здесь как основополагающие «сказания», утверждающие человека экзистенциально [3, с. 21].

Семантику деформации прежней гармонии микрокосма имеют также обозначения болезни или болезненных состояний и их проявлений у объекта заговора: *чтобы тосковал, болел (по рабе…), плакал, рыдал* и пр. (91 ед.). К ним примыкают пожелания, связанные с ментальной сферой индивида. При этом значение ‘думать’ или ‘постоянно помнить’ о субъекте заговора (151 ед.). выражено преимущественно лексемами, эксплицирующим биологические (физиологические) характеристики: *чтобы (рабу …) не заедал, чтобы (рабу …) не засыпал* и пр. (74 ед.), что находит отражение и на сравнительно менее частотном словоупотреблении собственно ментальных глаголов (62 ед.).

Если для объекта заговорных пожеланий новый мир создается через нарушение целостности и разрушение прежних признаков бытия, то в отношении актора любовного заговора желаемый мир строится через деформацию прежней иерархической структуры вселенной, путем перемещения субъекта заговора в центр мыслимого макро- и микрокосма.

Одним из важнейших признаков создаваемой заново иерархии становится категория красоты, в связи с чем в заговорных пожеланиях значительное место занимают лексемы с чередующимися корневыми *–крас-//-краш-* (*чтоб казалась краснее солнышка*; *чтобы краше солнца, чтобы краше месяца была*), а также языковые единицы, имеющие семантику зрительного восприятия (22 словоупотребления): *чтобы глядел, видел(-а,-и), глаз не сводила(и), смотрели, зорили, не отворачивались, была видна,* – и лексемы эмоционально-чувственной сферы (27 словоупотреблений): *чтобы нравилась, хвалили, любил (-а, -и), почитал (-а, -и), величал, честь наводили*, – в том числе включающие сему оценки. Эта семантика магического претворения красоты передана сравнительными конструкциями: *чтобы казалась (показалась, был(а), быть) лучше 14, краше 9 (милее 7, белее 4, светлее 4, яснее 3, алее 2, роднее 2, любе 2, дороже 1)* – 48 словоупотреб-

лений. Эталонами сравнения предстают элементы природного и социального мира, наиболее частотными из которых являются *солнце* (9 ед.), *отец и мать* (9 ед.), что наглядно характеризует выбор важнейших репрезентантов картины мира и их замещение субъектом заговора в указанных текстах: *краше солнца, милее отца, матери.*

В контекстах с союзом *чтобы* выступают также отдельные единицы с семантикой направленности движения к субъекту любовного заговора как центру притяжения (10): *чтобы бежал 1, мчался 1, торопился 1, (можно было) проехать (ко мне) 1; чтоб прильнула 1, прилегал 1, увивался 1; чтоб (и за меня) хватались 2; чтоб и я была в ходу 1*, а также единицы, эксплицирующие семантику единения (11): *чтобы не отста(ва)л(-а, -и) 3, не ушел 2, не отходила 1, не расставалася 1, чтобы никто не разлучил 1; чтобы слипалася 1, свивалася 1, чтоб связаны друг с другом были 1.*

Остальные примеры, не отраженные в этом распределении словоупотреблений различных лексем, являются единичными и не влияют на представленную выборку.

В любовных заговорах, сложившихся в период бытования мифологического сознания, сложно выделить различия личностного и коллективного начала. Само ритуальное действо, творящее новый мир, гармоничный и упорядоченный, воспринимается как нечто правильное, истинно возможное и правомерное. Не случайно Ю.С. Степанов и С.Г. Проскурин возводят концепт ритуала к его возникновению «из биологической ритуализации», связанной с явлением «гармонизации», «упорядочения живой среды», причем «ритуализация» отводит агрессию и связывает особей своего вида» [4, с. 407]. Биологическая ритуализация тем самым изначально свойственна человеку в той же степени, что и всему животному миру, и любовная магия органично вписывается в этот природный контекст. Творец и участник любовного заговора в рамках воспроизведения ритуального текста устанавливает единственно возможную для мифологического сознания связь правомерного действия и цели, важной как для отдельного индивидуума, так и для социума в целом.

Синкретичное понимание демиургической деятельности и права (правильности), свойственное древнему человеку, можно обнаружить в истории отдельных лексем, где сочетались семы созидания, становления и правовой обоснованности. Так, эволюция слова *судьба* демонстрирует связь с понятием закономерности, упорядоченности, о чем свидетельствует и ее дефиниция в словаре В.И. Даля. С отнесением лексемы *судьба* к правовой сфере в сознании носителя традиционной культуры согласуется ее первое значение – ‘судъ, судилище, судбище и расправа’. Лишь вторым и более поздним является значение ‘участь, жребій, доля, рокъ, часть, счастье, предопределенье, неминучее в быту земномъ, пути провидения; что *суждено*, чему суждено сбыться или быть’ [5, с. 356]. В свою очередь, данное представление о регулировании жизни общества восходит к идее созидания,

переданном и.-е. глаголом *som-(c, co) + *dhe- > *dhi ʻставить, устанавливать, класть’ [6, с. 526]. Связь идеи творения, существования с представлением о закономерности, упорядоченности находит отражение и в других языках: ассоциацию понятия *права* с идеей *правильности*, восходящую к схеме творения, «важнейшим элементом которой является *установление*», отмечает Т.В.Топорова, исследуя древнегерманские правовые представления [7, с. 616].

Вместе с тем уже в традиционном обществе возникает понятие судьбы, переданное целым рядом лексем, центральным из которых в славянском мире становится слово *доля*, включающее в себя семантику части [8, с. 357-358]. Указывая на единую семантику *доли* и *части*, А.А. Потебня выявил индоевропейские истоки данной лексемы, обозначающей ʻнечто оторванное, отколотое, кусок, часть’. Это же значение подтверждается М.Фасмером: *Доля* родств. лит. dalià, dalìs ʻчасть, доля’, лтш. dalis, др.-прусск. dellieis повелит. ‘дели’, др.-инд. dalam ‘кусок, часть, половина’ [9, с. 526]. Этимон ʻдоля = судьба’ как ʻчасть’ до сих пор сохраняется на периферии языкового сознания и проявляется в фольклорных произведениях, поверьях, этических нормах традиционной культуры, в ритуалах и актуализирующих эту древнейшую семантику некоторых современных контекстах. О.А. Седаковой выявлена оппозиция, характерная для *доли*: это противопоставление «свой – чужой», в которой *доля* со всей определенностью отнесена к «своему» [10, с. 54]. В связи с этим семантика *доли* как ʻчасти целого, состоящей во взаимной зависимости с другими частями’, правомерно рассматривается ею и в традиционной этике. В соответствии с народными представлениями оптимальное поведение характеризуется довольствованием своей долей и соответствием ей, ее приятие и полное употребление – без захвата чужих доль, без питания чужой силой (жизнью, кровью). Семантика лексем-репрезентантов концепта «Судьба», как и сохранившаяся в народной культуре мифологема судьбы, позволяет утверждать, что речевое поведение языковой личности любовного заговора противоречит этическим нормам традиционного общества, которым не свойственно посягание на чужую судьбу-долю, что, однако, не нашло прямых подтверждений в исследуемых контекстах любовного заговора.

С установлением христианства можно отметить интересную трансформацию отношения общества в целом или отдельных групп к любовным заговорам и в целом к заговорной традиции.

С одной стороны, этика христианства, по результатам анализа Священного Писания Е.М. Верещагиным, устанавливает «тринитарность этических оценок, а именно: *греховности* противостоит *праведность* (воздержание от греха) и *святость* (сверхдолжное деяние)» [11, с. 245]. Говоря иначе, христианство выделяет различные степени этического поведения: «грешный – праведный – святой», – где возникает представление об идеале, выразителем которого выступает святой. Результаты исследований ду-

ховной культуры, активно ведущихся в последнее время, дают возможность прийти к выводу, что дихотомия «свой – чужой», свойственная родовому обществу, заменяется трехчленной оппозицией, в рамках которой обычный человек, не отрешенный от мирских забот, совершает выбор между праведным и неправедным деянием, зная о потенциальной возможности следования более высоким этическим нормам. Тем самым существуют не только заповеди как свод неких правил, регламентирующих образ жизни социума через формулировку нежелательного или грешного поступка, но возникают и некие высшие образцы духовной жизни, в соответствии с которыми обыденная прагматика межличностного взаимодействия, диктующая выбор решения в пользу сиюминутной выгоды и успеха, подвергается определенной коррекции. Таким образом, если исходить из положений христианской морали, любовные заговоры стоят вне христианской традиции.

Тем не менее, история христианства в России свидетельствует о том, что для обычного человека грань между христианскими и языческими воззрениями была не слишком явственна. Немаловажен тот факт, что даже элита российского общества – большая часть дворянства и получившие определенное образование служители церкви – вплоть до конца XVIII в. вполне сохраняли веру в силу языческих персонажей и не видели различий между заговорами и молитвами [12, с. 20-21]. О своеобразном синкретизме языческого и христианского в сознании человека даже нового времени свидетельствует не только восприятие заговорных текстов в качестве молитв, но и само лексическое содержание заговора. Знакомство с заговорными текстами демонстрирует переплетение языческих и христианских компонентов в структуре любого заговора. Так, многие любовные заговоры включают в себя обращения к персонажам христианской сферы, практически все в своей концовке имеют завершающие элементы христианской молитвы.

В исследуемых фрагментах заговорных текстов довольно частотны обозначения субъекта и объекта воздействия как рабов Божьих (как и в других фрагментах любовного заговора). Весьма значимой представляется в этом отношении репрезентативность сочетаний *раб Божий* в анализируемых контекстах с союзом *чтобы* – 144 ед., при этом в сумме с дополнительным обозначением объекта заговора как *раба/рабу* (без определения *Божий*) это составляет 171 словоупотребление. Хотя со стороны церкви любые заговоры воспринимались грехом идолопоклонства и волхвования, указанная особенность религиозного сознания, свойственная всем слоям русского населения, позволяет видеть в акторе любовного заговора обычного просителя благ у Бога. Все это дает основание утверждать, что несмотря на неприятие заговоров официальной церковью повсеместная практика их применения длительное время, вплоть до XIX в., в целом не противоречила ценностным установкам социума, воспринимавшего их как разновидность молитв.

С течением времени как в обществе, так и в рамках христианской морали возникают новые предпосылки для неприятия любовных заговоров, связанные с развитием идеологии христианства. По свидетельству С.Е. Никитиной, исследовавшей место заговорной традиции в духовной культуре «православного протестантизма», более терпимые ответвления православия, в частности, духоборцы и молокане, признавая прагматическую ценность заговоров от болезней и от неудач на охоте, категорически запрещают любовные заговоры [13, с. 402]. По всей видимости, подобное отношение связано с ценностными ориентациями протестантизма, когда, по М.Веберу, рациональность протестантизма начинает противопоставляться традиционному и харизматическому способам организации общественных отношений [14, с. 75]. Отмена института священничества и культа святых [15, с. 375-381] не только явилась следствием идеи личной ответственности человека перед Богом, обществом и другими членами социума, но и повлекла за собой усиление личностного начала. В связи с этим, на наш взгляд, постулируемая протестантизмом честность отношений [14, с. 75] начинает противоречить заложенной в любовном заговоре манипулятивной стратегии языковой личности, направленной на построение жизни другой индивидуальности как марионетки, лишенной собственной воли. Именно поэтому на основе различения положительных или негативных последствий магии для объекта ритуального текста носители русской протестантской традиции относят любовные заговоры к чародейству и смертному греху.

Общая тенденция к секуляризации общества коснулась и десакрализации мифологического текста.

В любовных заговорах, функционирующих в настоящее время, проявляется весь многовековой пласт культурных представлений народа, а также творческое начало современной языковой личности, участвующей в сакральной коммуникации. Поскольку прагматические цели актора любовного заговора, связанные с воздействием на любимого, воспринимаются сейчас вне мифологического и религиозного контекста, под влиянием современных морально-этических норм возникают новые для заговора слова и выражения, передающие одно и то же, закрепленное веками, содержание.

Не всегда возможно различение мифологического и фольклорного, мифологического и современного десакрализованного сознания, представленного в языковых единицах любовного заговора. Все же некоторые конструкции дают основания рассматривать в изучаемых фрагментах оппозицию *мифологическое – немифологическое*.

Десакрализация мифологических контекстов проявляется, в частности, в возможности актором любовного заговора включения современных обиходных слов и выражений в устойчивые сочетания заговорного текста. Это видно, к примеру, в замене имени субъекта (объекта) заговора: *рабу (икс)*

вместо *рабу Марью*; в предлагаемой отсылке к уже известному инварианту: *И так далее* вместо прочтения полного текста заговора.

Современное словоупотребление демонстрирует и изменение мифологической основы любовного заговора. Так, характерная для него частотность лексем с чередующимися *-крас-//-краш-* отсылает к семантике глагольного **kres-//*krěs-* 'создавать', возникшей еще в индоевропейскую эпоху и связанной, в частности, с латинским creō. Это значение, передающее нечто созидательное либо возобновляемое, сохранилось в славянских языках, ср. *крѐсови* 'множественное число' в сербохорватском языке, *крêс* 'солнцеворот' в словенском языке, *кресало* 'стальная пластинка для высекания огня из кремня' в русском языке. Однако в славянских языках этот корень сохраняется преимущественно в мифологическом и религиозном дискурсе. Так, наряду с *крêс* 'солнцеворот' в словенском языке наличествует значение 'Иванов день'; в сербохорватском *крѝјес* 'огонь, разводимый накануне Иванова дня'; в русском языке *кресать огнь* 'создавать огонь', 'оживлять огонь', так и значение 'воскресить' в однокоренных словах *воскресить*, *воскрешать* в различных славянских языках [16, с. 372].

Возможно, закрепление корня *-крас-//-краш-* в оптативных контекстах любовного заговора связано с выражением мифологической идеи созидания, опосредованное мифологической семантикой сочетания **kresati ognь* как 'творить живой огонь'. Как свидетельствуют результаты этимологического анализа, осуществленного О.Н.Трубачевым, реконструируемая праславянская лексема **krasa*, связанная кроме прочего с **kresati ognь*, имеет значение 'цвет жизни', что проявляется в этимологически однокоренных *краска*, *красный* [17, с. 210-211]. Таким образом, можно утверждать, что сам выбор лексем с корнем *-крас-(-краш-)* изначально мотивирован идеей витальности, жизненной силы в собственно мифологическом смысле этого слова.

На наш взгляд, более частотная в сравнительных конструкциях описываемых контекстов лексема *лучше*, как и другие замены корня *-крас-(-краш-)*, являются инновацией и отступлением от мифологического дискурса, обусловленным отходом от мифологического понимания ценности как ценности биологического выживания, поскольку теряется мифологическое понимание солнца, эксплицируемое в семантике лексем с чередующимися *-крас-//-краш-*. Изменение сочетаемостных особенностей также нарушает не столько устойчивые фольклорные сочетания, сколько скрытую за ними логику мифологической системы воззрений: *алее солнца, красный месяц* и др.

В связи с размыванием мифологической основы любовного заговора и отходом от религиозной ее составляющей становится возможным выделить контексты, отражающие языковое сознание хронологически более позднего периода. Благодаря исчезновению мифологических представлений эти контексты демонстрируют также и преобразование ценностных ориентаций представленной в них языковой личности, направленной уже

не столько к поиску брачной пары в рамках биологической ритуализации, сколько к выбору индивидуальности, наделенной конкретными чертами. В свою очередь, это приводит к модификации и трансформации исходных мифологических конструкций. Так, в частности, может меняться соматический код любовного заговора: *чтобы я стала ему ногами, белыми руками, зелеными глазами* (ср. [18]). Таким образом, функционирующие в настоящее время любовные заговоры представляют собой совокупность разновременных текстов, включающих в себя как исходные, так и определенным образом преобразованные мифологические конструкции, что является отображением эволюции ценностных ориентаций языковой личности.

Литература

1. Великорусские заклинания / сост. Л.Н. Майков. М., 1997; Дранникова Н.В. Фольклор Архангельского края: из материалов архива лаборатории фольклора. Архангельск: Поморский госуниверситет, 2001; Встану я благословясь… Лечебные и любовные заговоры, записанные в части Архангельской обл. / Изд. подготовлено Ю.И. Смирновым и В.Н.Ильинской. М., 1992; Любовные заговоры. Тамбов, 1990; Любовные и семейные заговоры // Вятский фольклор. Заговорное искусство. Котельнич, 1944. С.36-58; Магия слова: заговор: по материалам фольклорного архива Новгородского госуниверситета / авт.-сост. О.С. Бердяева. Великий Новгород, 2006; Молитвы и заклинания. В круге жизни / сост. К. Шумов. Пермь, 1997; Нижегородские заговоры (в записях XIX-XX вв.) / сост., вступ.ст. и комм. А.В. Коровашко; отв. ред. К.Е. Корепова. Н.Новгород, 1997; Обереги и заклинания русского народа / сост. М.И. и А.М. Песковы. М., 1994; Русские заговоры и заклинания: материалы фольклорных экспедиций МГУ, 1953-1993 гг. / сост.: С.В. Алпатов и др.; под ред. В.П. Аникина. М., 1998; Русские заговоры Карелии / сост. Т.С. Курец. Петрозаводск, 2000; Сахаров И.П. Русское народное чернокнижие. СПб., 1997; Фольклор Тверской губернии: сб. 1919-1926 / сост. Ю.М. Соколова, М.И. Рожновой; отв. ред. А.Ф. Белоусов. СПб., 2003; Харитонова В.И. Практическая магия. Заговоры, заклинания. М., 1991.

2. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М.: Языки русской культуры, 1996.

3. Элиаде М. Аспекты мифа / пер. с фр. В. Большакова. – М.: ТОО «Инвест-ПШП», 1995.

4. Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. Концепт «действие» в контексте мирровой культуры // Логический анализ языка. Избранное. 1988-1995. – М.: Индрик, 2003. С. 403-413.

5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М., 1995. – Т. IV.

6. Семенов А.А. Этимологический словарь русского языка. – М., 2004.

7. Топорова Т.В. Древнегерманские представления о праве и правде // Логический анализ языка. Избранное. 1988-1995. – М.: Индрик, 2003. С. 616-619.

8. Потебня А.А. О доле и сродных с нею существах // Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре. – М.: Лабиринт, 2000. – С. 357-397.

9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. – СПб.: Терра-Азбука, 1996. Т. I.

10. Седакова О.А. Тема «доли» в погребальном обряде (восточно- и южнославянский материал) // Исследования в области балто-славянской духовной культуры (погребальный обряд). – М.: Наука, 1990. – С. 54-63.

11. Верещагин Е.М. Об относительности мирской этической нормы // Логический анализ языка: Языки этики. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 235-245.

12. Турилов А.А., Чернецов А.В. Отреченные верования в русской рукописной традиции // Отреченное чтение в России XVII-XVIII в. / отв. ред. А.Л.Топорков, А.А.Турилов. – М.: Индрик, 2002. – С. 8-72.

13. Никитина С.Е. О заговорах в культуре духоборцев и молокан (на материале полевых исследований) // Заговорный текст. Генезис и структура. – М.: Индрик, 2005. – С. 401-412.

14. Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983.

15. Христианство: словарь / под общ. ред. Л.Н. Митрохина и др. – М.: Республика, 1994.

16. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. – СПб.: Терра-Азбука, 1996. Т. II.

17. Трубачев О.Н. Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. – М.: Наука, 1988. – С. 197-231.

18. Ханташкеева Т.В. Восприятие человека в сравнительных конструкциях любовных заговоров // Языковая картина мира Байкальского региона. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2009. С. 185-191.

Ханташкеева Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и исторического языкознания Бурятского государственного университета.

E-mail: burteta@mail.ru

II. РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

УДК 811.111

© *В.Д. Максимов*

Семантические особенности английской адъективной фонолексики

Статья посвящена семантическому описанию английских имен прилагательных, обозначающих звуковые события. Исследование показало, что семантический объем адъективных фононимов состоит не только из десигнации онтологической природы кодируемых языком физических звуков. В семантическую структуру фонолексем входят также сведения и характеристики продуцентов и каузаторов элементов звукового универсума. Настоящее исследование представляет не только чисто теоретический интерес для лингвистов-когнитологов, заостряя внимание на поиске реперных точек номинации объектов внешнего мира. Статья имеет прагматическую направленность в область реального речевого общения в условиях выбора коммуникантами конкретных единиц лексикона.

Ключевые слова: концепт, фононим, фонолексика, семантика, имя прилагательное.

V.D. Maksimov

English adjective phonolexic's semantic peculiarities

The article is devoted to linguistic analysis of English adjectives that denote physical sounds. It is revealed that the phononym's meaning does not contain information about the named sounds alone. The phononym also characterizes the sound's source and producer as well. Theoretically speaking, the study is an attempt at detecting the key points of nominative priority in lexical units as such. Besides, the paper provides the communicators with pragmatic tips in selecting the sound names proper with proper meaning.

Keywords: concept, phononyms, sound names, semantics, adjective.

Настоящая статья посвящена проблеме адъективной вербализации концепта HEARING (СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ) в современном английском языке. Актуальность названной темы обусловлена следующим обстоятельством. Если фононимы (или звукообозначения, как их обычно называют) класса прилагательных денотируют качественные свойства звуков, то их семантический анализ заставляет задаться вопросом: чьи свойства именуют адъективы – самих звуков или их каузаторов (продуцентов) и субъектов восприятия (реципиентов)? Ответ на данный вопрос приблизит нас к более общей и важной проблеме – вопросу о лингвистических основаниях выбора говорящим конкретных языковых средств для обозначения мира онтологии, т.е. для поиска реперных точек номинации, что в немалой степени волнует современных лингвистов-когнитологов.

Изучая английские фононимы как форму языковой репрезентации концепта СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ, мы не вправе игнорировать обширный

пласт адъективной фонолексики современного английского языка. Эта лексика призвана эксплицировать объективно-качественный – через профилирование квалитативных признаков концепта – и субъективно-оценочный компонент, маркируя релятивные признаки названного концепта. Данные адъективы, образующие лексико-семантическую группу (далее ЛСГ) «Слуховое восприятие» делятся также на **фонические** и **афонические**. Фонические прилагательные являются дериватами соответствующих субстантивных фононимов, которые представляют собой прототипическую группу звукообозначений, образующих семантическое поле концепта HEARING. Фонические адъективы можно проиллюстрировать следующими лексическими единицами: *reverberating* 'грохочущий', *sonorous* 'громкий', *shrill* 'пронзительный', *weepy* 'плаксивый', *booming* 'гулкий', *pounding* 'грохочущий', *soft* 'тихий', *hoarse* 'хриплый', *toneless* 'монотонный', *crunching* 'хрустящий', *sobbing* 'рыдающий', *roaring* 'ревущий', *cracking* 'трескучий', *growling* 'ворчащий', *musical* 'музыкальный' и т.п.

Что касается афонических прилагательных, то они не имеют прямого отношения к выражению понятийной категории звучания, но они входят в зону периферийных средств объективации концепта СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ. Они преимущественно характеризуют звуковые события (аудиальный перцепт) в разных аспектах, равно как и участников фоноаудиальной ситуации (ФАС): продуцента и реципиента. Приведем несколько примеров афонической лексики указанного лексико-семантического разряда: *distant* 'далекий', *tinny* 'металлический', *rapid* 'быстрый', *furious* 'яростный', *plaintive* 'жалобный, *peculiar* 'особенный, *dogmatic* 'догматический', *serene* 'безмятежный', *facetious* 'шутливый', *awful* 'ужасный', *irrepressible* 'неудержимый', *painful* 'болезненный', *vehement* 'сильный', *persistent* 'настойчивый', *pert* 'нахальный', *mournful* 'скорбный', *curious* 'любопытный' и т.п.

Утверждая, что адъективные фононимы являются основными (хотя и не единственными: качественную характеристику аудиальной перцепции могут актуализировать также препозитивные субстантивные фононимы) **экспликаторами качества физических звуков**, мы исходим из того, что качество предмета – это совокупность его свойств, составляющих его особость от других и единение с ними [1, с. 133]. Свойства же могут быть объективными, онтологически присущими предмету и субъективными или оценочными [2, с. 20].

Рассмотрим объективно-качественную фонолексику. К этому виду лексики мы относим все ***фонические*** прилагательные на том основании, что они все имеют фононимы в составе своих дефиниций в качестве метатерминов лексикографического описания. В дискурсивном бытовании они функционируют как номинативные лексические единицы, входящие в поле концепта СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ. В то время как ***афонические*** адъективы бытуют в тексте с целью характеризации звуковых событий, их бо-

лее детальной и точной категоризации посредством номинации разнородных признаков аудиальных перцептов.

Сплошная выборка из 528 прилагательных, привлеченных к лингвистическому анализу из 10 романов современных английских и американских авторов, составила семь тематических блоков.

Тематический блок 1: Вербализация повышенного уровня звучания

Abandoned 'отчаянный', *banging* 'шумный', *bawling* 'орущий', *beating* 'стучащий', *big* 'громкий', *big-sounding* 'громкий', *blaring* 'орущий', *blustering* 'ревущий', *booming* 'гулкий', *clunky* 'громыхающий', *colossal* 'громадный', *dominant* 'господствующий', *ear-deafening* 'оглушительный', *ear-piercing* 'оглушительный', *ear-shattering* 'оглушительный', *explosive* 'взрывной', *heartrending* 'душераздирающий', *loud* 'громкий', *maddening* 'сводящий с ума', *mighty* 'мощный', *monstrous* 'ужасный', *noisy* 'шумный', *obstreperous* 'шумный', *overwhelming* 'подавляющий', *piercing* 'пронзительный', *pounding* 'грохочущий', *rattling* 'дребезжащий, *roaring* 'гремящий', *screaming* 'кричащий', *screamy* 'крикливый', *screeching* 'визжащий', *screechy* 'визгливый', *shrill* 'резкий', *shrill-gorged* 'горластый', *shrill-tongued* 'с пронзительным, резким голосом', *shrill-voiced* 'горластый', *shrilly* 'резкий', *sonorific* 'звонкий', *sonorous* 'громкий', *stentorian* 'громогласный', *splitting* 'оглушительный', *strong* 'сильный', *stunning* 'оглушающий', *thunderous* 'оглушительный', *turbulent* 'бурный', *twanging* 'звенящий', *twangy* 'звонкий', *uproarious* 'буйный', *vehement* 'неистовый', *vociferant* 'горластый', *vociferous* 'голосистый', *wild* 'буйный', *world-splitting* 'невообразимый', *yowling* 'воющий'.

Тематический блок 2: Вербализация пониженного уровня звучания

Babbling 'журчащий', *breathed* 'глухой', *bubbling* 'булькающий', *bubbly* 'шипучий', *buzzing* 'жужжащий', *cackling* 'кудахтающий', *exhausted* 'слабый', *faint* 'слабый', *low* 'негромкий', *lowered* 'тихий', *murmuring* 'журчащий', *murmurous* 'приглушённый', *puffy* 'приглушённый', *purling* 'журчащий', *rustling* 'шуршащий', *sepulchral* 'глухой', *slight* 'слабый', *small* 'тихий', *soft* 'тихий', *soothing* 'мягкий', *splashing* 'плещущий', *splashy* 'плещущий', *stifled* 'приглушённый', *still* 'тихий', *subdued* 'приглушённый', *ticking* 'тикающий', *tiny* 'еле слышный', *stifled* 'приглушённый', *weak* 'слабый', *wheezy* 'хриплый', *whispered* 'произнесённый шёпотом', *whispering* 'шепчущий'.

Тематический блок 3: Вербализация музыкальных характеристик

Atonal 'атональный', *bass* 'басовый', *cacophonous* 'неблагозвучный', *casual* 'небрежный', *catlike* 'мягкий, неслышный', *crashing* 'шумный', *discordant* 'неблагозвучный', *dissonant* 'нестройный', *fast* 'быстрый', *final* 'последний', *fine* 'тонкий', *flowing* 'плавный', *gentle* 'нежный', *high-tuned* 'высокий, *martial music* 'марши', *melancholic* 'меланхолический, грустный', *melodious* 'мелодичный', *monotonous* 'монотонный', *musical* 'музыкальный', *repetitious* 'изобилующий повторениями', *rhythmic* 'ритмичный',

rolling ‘с трелью’, *romantic* ‘романтический’, *singsong* ‘напевный’, *solemn* ‘торжественный’, *staccato* ‘рассыпчато-дробный (о каденции)’, *tremulous* ‘дрожащий’, *triumphant* ‘торжественный’, *unmelodious* ‘немелодичный’, *vocal* ‘звонкий’.

Тематический блок 4: Вербализация пространственных координат

Carrying ‘легко летящий вдаль’, *close* ‘близкий’, *distant* ‘далёкий’, *easy-flying* ‘легко несущийся вдаль’, *far-off* ‘далёкий’, *far-ranging* ‘с большой зоной слышимости’, *far-reaching* ‘далеко слышимый’.

Тематический блок 5: Вербализация временной длительности

Brief ‘краткий’, *constant* ‘постоянный’, *continuing* ‘длительный’, *continuous* ‘продолжительный’, *incessant* ‘беспрерывный’, *innumerable* ‘бесчисленный, *laconic* ‘лаконичный’, *long* ‘долгий’, *persistent* ‘постоянный’, *prolonged* ‘длительный’, *protracted* ‘длительный’, *rapid* ‘быстрый’, *recurrent* ‘периодический’, *repeating* ‘повторяющийся’, *sustained* ‘непрерывный’, *timeless* ‘постоянный, вечный’.

Тематический блок 6: Вербализация эмоций

Abandoned ‘безудержный, самозабвенный’, *affectionate* ‘нежный’, *angry* ‘сердитый’, *aggressive* ‘угрожающий’, *annoying* ‘надоедливый’, *anxious* ‘волнующийся’, *appealing* ‘умоляющий’, *awful* ‘ужасный’, *bitter* ‘горький’, *brutal* ‘грубый’, *calm* ‘спокойный’, *caressing* ‘ласковый’, *cheerful* ‘весёлый’, *chipper* ‘весёлый’, *chirrupy* ‘жизнерадостный’, *cold* ‘холодный’, *comforting* ‘успокаивающий’, *complaining* ‘недовольный’, *confidential* ‘уверенный’, *congenial* ‘приятный’, *dulcet* ‘нежный’, *emotionless* ‘равнодушный’, *encouraging* ‘одобрительный’, *enthusiastic* ‘радостный’, *excited* ‘взволнованный’, *exultant* ‘ликующий’, *exulting* ‘торжествующий’, *feelingless* ‘равнодушный’, *furious* ‘яростный’, *gentle* ‘нежный’, *irritable* ‘раздражительный’, *jarring* ‘резкий’, *jeering* ‘презрительный, насмешливый’, *kind* ‘добрый’, *melancholic* ‘грустный’, *morose* ‘мрачный’, *mournful* ‘печальный’, *pitiful* ‘жалкий’, *plaintive* ‘жалобный’, *sad* ‘печальный’, *sympathetic* ‘одобрительный’, *unhappy* ‘грустный’, *unkind* ‘злой’, *violent* ‘страстный’, *weeping* ‘плакучий’, *weepy* ‘плаксивый’, *whiny* ‘плаксивый’.

Тематический блок 7: Вербализация аудиальной оценки

Audible ‘слышный’, *awful* ‘ужасный’, *babbling* ‘болтливый’, *beautiful* ‘красивый’, *dignified* ‘величавый’, *discordant* ‘неблагозвучный’, *good* ‘хороший’, *great* ‘громкий’, *grim* ‘мрачный’, *grouchy* ‘ворчливый’, *gruff* ‘грубый, хриплый’, *happy* ‘счастливый’, *harsh* ‘резкий’, *honey-toned* ‘льстивый, *horrible* ‘ужасный’, *horrid* ‘неприятный’, *huge* ‘громкий’, *irritable* ‘раздражительный’, *lovely* ‘приятный’, *mellifluous* ‘сладкоречивый’, *jarring* ‘резкий’, *mild* ‘мягкий’, *oily* ‘льстивый’, *ominous* ‘зловещий’, *pleasant* ‘приятный’, *polite* ‘вежливый’, *rasping* ‘скрипучий’, *raspy* ‘скрежещущий’, *reverent* ‘почтительный’, *rough* ‘грубый’, *scraping* ‘режущий слух’, *scratchy* ‘царапающий’, *squeaky* ‘скрипучий’, *squeaky-voiced* ‘с писклявым голосом’, *squealing* ‘визжащий’, *strident* ‘скрипучий’, *sweet* ‘мелодичный, благозвуч-

ный', *truculent* 'грубый, резкий', *trumpet-tongued* 'громогласный', *unbearable* 'невыносимый', *unnerving* 'нервирующий, действующий на нервы'.

Рубрикация тематических блоков актуализирует семантические признаки как *относительных* прилагательных (оценочные характеристики звуков, перечисленные в блоках 3 и 7), так и *качественных* прилагательных, в которых получают номинацию квалитативные признаки ФАС, перечисленные в блоках 1 и 2, объективирующие концептуальный признак «квалитативность», и в блоках 4, 5, 6, объективирующие концептуальный признак «релятивность», который актуализирует соотнесенность аудиального перцепта с миром онтологии: временем, пространством и эмоциональной концептосферой продуцента. Блоки 1 и 2 состоят из фонических адъективов, которые выражают, по терминологии А.В.Солнцева [3, с. 133], *понятийную номинативность*, в то время как афонические прилагательные из других блоков – *ассоциативную номинативность.* Кстати сказать, к числу ассоциативной адъективной фонолексики отойдут и остальные прилагательные ЛСГ нашей выборки, не названные в блочных списках, но также актуализирующие различные семантические признаки звуковых референтов, типа *gasping, full, humming, kicking, poignant* и др. Таким образом, хрестоматийные категориальные признаки качественности и относительности выступают в области фононимии актуализаторами квалитативных, релятивных и оценочных компонентов содержания концепта «Слуховое восприятие». Особенностью вербализации данных признаков является смешанный характер их концептуального содержания: объединяются *релятивный, квалитативный* и *оценочный* типы признаков, подведенные под семантические категории качественности и относительности. Как справедливо указывает И.Ю. Колесов, это является свидетельством того, что языковые таксономии не вполне отражают рубрикации опыта и, соответственно, структурация знания человека о том или ином явлении в языковых значениях осуществляется посредством проецирования концептуальных признаков на имеющиеся семантические категории. В результате категориальное значение качественности у адъективных лексем с перцептивным значением является неоднородным в концептуальном плане, вмещая в себя концептуальные признаки квалитативности, относительности и оценочности [4, с. 283].

В заключительной части статьи рассмотрим признаки субъекта-продуцента и субъекта-реципиента, выявленные в ходе трансформационного анализа, когда фонические адъективы получаются методом семантической деривации от имен коммуникантов, глагольных лексем со значением продуцирования звуков и названий частей речевого аппарата. При этом лексемы всех трех семантических типов изначально маркированы семой оценки. Оценка субъектов осуществляется через нейминг (вербальную ре-

презентацию) полярных признаков аттрактивности или репеллентности для реципиента, а также указывается по шкале аксиологической оценки коммуникантов: хороший – плохой.

Качественная характеризация продуцента и реципиента в семантике адъективов представлена следующими элементами фреймов «Генерация звуков» и «Слуховое восприятие».

1. ***Трансформация нейминга коммуниканта в адъективный перцептив:***

bawler 'горлодёр' – *bawling* 'орущий, вопящий'
loudmouth 'горлопан' – *loudmouthed* 'горластый, крикливый'
squaller (о детях) 'крикун' – *squalling* 'пронзительный'
babbler 'болтун' – *babbling* 'болтливый'
blabbermouth 'трепач' – *blabbering* 'болтливый'

2. ***Трансформация глагольной лексемы в адъективный фононим:***

to strum 'тренькать' – *strumming* 'тренькающий, бренчащий'
to yell 'орать' – *yelling* 'орущий'
to shout 'кричать' – *shouting* 'кричащий'
to scream 'голосить' – *screaming* 'визгливый; воющий'
to clamour 'шуметь' – *clamorous* 'шумный'

3. ***Трансформация наименований частей речевого аппарата в адъективы:***

lips 'губы; уста' – *close-lipped* 'молчаливый'; *loose-lipped* 'говорливый'
mouth 'рот' – *big-mouthed* 'болтливый'; *foul-mouthed* 'сквернословящий'
gorge 'горло' – *shrill-gorged* 'горластый'
tongue 'язык' – *sharp-tongued* 'бранчливый; злоязычный'.

Мы считаем, что весьма перспективным способом изучения семантики прилагательных является рассмотрение их функционирования в составе атрибутивных словосочетаний, образованных по модели Adj+N, где первый элемент представлен фоническим или афоническим адъективом, а второй – субстантивным фононимом. И не только в силу того, что данный тип языковых форм является самым продуктивным в речевом дискурсе и в ткани художественного повествования. В нашем случае словосочетания, образованные по указанной моедли, позволили выявить самые частотные лексемы не только субстантивного типа, но и – что более актуально для темы нашей статьи – адъективные единицы. Ими оказались соответственно: *voice, sound, noise; soft, distant, little, long, faint, sharp, loud, noisy*. Но неоценимую услугу атрибутивные словосочетания нам оказали тем, что помогли ответить на вопрос, который был поставлен в начале статьи: что адъективные фононимы профилируют по-преимуществу – свойства звуковых концептов или их продуцентов и реципиентов? Из всего корпуса прилагательных ЛСГ (528 лексем) только 18 дескрипторов описывают субъектов ФАС. Ответ ясен: современный английский язык кодирует качествен-

ные характеристики прежде всего для аудиальных перцептов. В то время как актуализация признаков субъектов – как продуцентов, так и реципиентов – находится на периферии семантических полей «Генерация звуков» и «Слуховое восприятие».

Литература

1. Войшвилло Е.К. Понятие. – М., 1967.

2. Павлов В.М. Качественность и субстанциальная семантика // Теория функциональной грамматики. Качественность. Количественность. – СПб.: Наука, 1996. С.8-53.

3. Солнцев А.В. Виды номинативных единиц // Вопросы языкознания. – 1987. – №2. – С.133-136.

4. Колесов И.Ю. Актуализация зрительного восприятия в языке: когнитивный аспект (на материале английского и русского языков): дис. ... д-ра филол. наук. – Барнаул, 2009.

Максимов Виктор Дмитриевич, кандидат филологических наук, доцент. Алтайский государственный университет. E-mail: mksmv@yandex.ru

III. РУСИСТИКА. СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

УДК 811.161.1

© *И.Ю. Хандархаева*

Структурно-семантическое значение глаголов совершенного вида в аористическом употреблении

Статья посвящена проблеме семантики глаголов совершенного вида в аористическом употреблении на уровне текста типа «повествование». Рассматривается соотнесенность секвентной разновидности функции ВНС и полисубъектной структуры повествовательного типа.

Ключевые слова: аористическое значение, повествовательный текст, акциональность, секвентная связь, возникновение новой ситуации.

I.Yu. Khandarkhaeva

Structural and semantic meaning of the verbs in the perfect form in the aoristic use

The article deals with the semantics of verbs in the perfect form used aoristically at the level of the narrative type of the text. We consider the correlation between the sequential form of the VNS function and the polysubjective structure of the narrative type.

Keywords: aoristic value, narrative text, actionality, sequential relationship, emergence of a new situation.

Вопрос о различии временных значений форм прошедшего времени совершенного вида в научной литературе освещен крайне недостаточно. Ведь глаголы прошедшего совершенного могут представлять не только события, не разобщенные с моментом речи (перфектное значение), но и события, которые представлены как разобщенные с моментом речи действия (аористическое значение) [1, с. 434]. Большой вклад в разработку данной проблемы внесли Ю.С. Маслов, А.В. Бондарко, Н.С. Поспелов, Е.Н. Прокопович и др.

Если вопрос о характере происхождения, семантической природе перфектного значения в лингвистической литературе уже изучался, то проблема и место аористической разновидности в иерархии значений глагольных форм в литературе определены не в полной мере. Чтобы понять специфику семантики глаголов с аористическим значением и характер функционирования в современном русском языке, следует обратиться к происхождению аориста.

В древнерусском языке аорист – «простая форма прошедшего времени. Он обозначал как длительное, так и мгновенное единичное действие, полностью обращенное в прошлое. Он употреблялся тогда, когда речь шла о прошлом факте и когда прошедшее действие мыслилось как единичный, целиком законченный акт» [2, с. 324].

Как свидетельствует П.С. Кузнецов, аорист в эпоху древнейших памятников являлся «наиболее обычной временной формой для обозначения со-

бытий, имевших место в прошлом» [3, с. 272].

По словам А. А. Шахматова, «древнейший аорист означал прошедшее событие как факт, независимо от способа его проявления, т.е. независимо от видовых различий» [4, с. 488]. По данным исследователей истории языка, отмечается, что аорист перестает быть живой формой в XIV–XV вв. [5, с. 85].

Наиболее точным и актуальным является определение аориста, данное еще А. А. Потебней: «Аорист означает сам по себе то, что действие представляет как один момент, независимо от того, как продолжительно оно было на самом деле» [6, с. 193].

В современном русском языке значение аориста выражено формально в глаголах совершенного вида прошедшего времени. Семантическое содержание глаголов с аористическим значением особых изменений с древних времен не претерпело и выражает «конкретный факт прошлого: никаких других семантических признаков нет, – в частности, нет указания на последствия, актуальные для позднего временного плана» [7, с. 95].

Итак, глаголы совершенного вида с аористическим значением означают сменяющиеся факты прошлого безотносительно к настоящему. Происходит констатация в прошлом действий в повествовательном типе речи, когда, по словам А. А. Потебни, «мысль лишь скользит по прошедшему событию, не останавливаясь» [6, с. 193].

Обладая способностью содержать в себе значение «прошедшего факта прошлого без указания на наличный результат прошедшего действия» [10, с. 633], анализируемые глаголы могут структурировать повествовательный тип речи. Благодаря данному семантическому содержанию глаголы совершенного вида с аористическим значением используются для передачи последовательно сменяющихся действий, которые разворачиваются структурно. Явления, обозначенные предикатами акционального характера в повествовательном тексте, интерпретируются как диахронные. Цепь сменяющихся событий можно пронаблюдать в следующих речевых ситуациях:

1) в «чистом» повествовании, когда глаголы совершенного вида с аористическим значением выражают действия во временной последовательности и «отдельное звено» репрезентирует «всю цепь». Например:

Хохлов вздернул голову, подался вперед, словно от толчка, стремительно вскочил и взмахнул руками. (А. Иванов)

В этой повествовательной микротеме движение времени представлено однонаправленно: каждое действие сменяется другим во временной последовательности (*вздернул, подался, вскочил, взмахнул*).

2) глаголы с аористическим значением интенсивно используются при передаче косвенной речи [8, с. 105]. Например:

Гагин смутился, пробормотал ей вслед, что она сумасшедшая, попросил меня извинить ее. (И. Тургенев)

В этой микротеме сообщается о последовательных действиях героя. Сочетание глагола совершенного вида с аористическим значением (*смутился*)

с глаголами с аористическим значением, передающими косвенную речь (*пробормотал*) выражают значение диахронности.

3) при смешении диалога и повествования. Например:

– Да ведь это лучше же, Галя, тем более что, с одной стороны, дело покончено, – пробормотал Птицын и, отойдя в сторону, сел у стола, вынул из кармана какую-то бумажку, исписанную карандашом, и стал ее пристально рассматривать. (Ф. Достоевский)

В данной микротеме, имеющей в основном форму повествования, включен диалог. Авторская речь, идущая вслед за диалогом, представлена глаголами совершенного вида с аористическим значением (*сел, вынул, стал рассматривать*). Глагол с аористическим значением *пробормотал* отличается по отношению к диалогу наибольшей самостоятельностью и примыкает в смысловом отношении к последующим предикатам.

Во фрагментах повествовательного характера глаголы с аористическим значением обычно указывают на одноактные процессы в прошлом, выполняют функцию реплики в диалоге или, употребляясь в микротематическом контексте, являются введением к описанию или рассуждению [8, с. 101]. Например:

[*Мы приехали туда в сумерки*]. *Северное море шумело у широкой дамбы. Тусклый туман расползался над водой. Из этого тумана доносился печальный звон колоколов на плавучих бакенах. В тесной гавани на рыболовных ботах были завернуты для просушки разноцветные паруса, штабелями лежали пустые бочки из-под рыбы…* (К. Паустовский)

В этом контексте описание дамбы вводится повествовательной фразой (неразвернутое повествование), о чем свидетельствует глагол с аористическим значением (*приехали*), подготавливающий читателя к восприятию описания.

Значение отдельного факта в его одноактности наиболее отчетливо проявляется в условиях диалогической речи. Являясь непременным атрибутом художественного произведения, диалог (или диалогическое единство) приобретает свою специфику, свои особенности благодаря функционированию в нем глаголов совершенного вида с аористическим значением, хотя их употребление не сопряжено, как в монологической речи, с необходимостью говорящего выразить диахронность действий или синхронность состояний. Одним словом, коммуникативная функция видо-временных форм глагола в диалоге – способ задания, характер вопроса в значении аориста глагольных форм, как правило, глаголов «говорения», расширенных глаголами «звучания» типа *промямлил, просипел, пропищал, проскрипел* и т.п.

Например:

– Дедушка! а дедушка! – проговорил я…

– Чего? – прошамшил он осипшим голосом. (И. Тургенев)

Как видно из фрагмента диалога, глаголы с аористическим значением (*проговорил, прошамшил*) не являются суждениями для выражения диахронности явлений действительности и значение «одноактности» выраже-

но эксплицитно.

Таким образом, сфера применения глаголов совершенного вида с аористическим значением достаточно широка: данный глагол интенсивно используется как в монологической, так и в диалогической речи, а также в ситуациях переходного типа (обрамленный диалог). При этом следует указать на тот факт, что понятие «временной порядок» [9, с. 167] выражается не только полипредикативными конструкциями, но и монопредикативными, когда возникшая ситуация представлена «одиночным» предикатом в форме глагола с аористическим значением. В таком случае следует говорить о единичном включении действия на временной оси [9, с. 184].

Важнейшим компонентом семантики глаголов совершенного вида с аористическим значением является несвязанность с настоящим на временной оси, т.е. у глаголов данного типа наблюдается «полная отрешенность от речевой зоны настоящего» [10, с. 92]. Невозможность у глаголов с аористическим значением актуализации действий в настоящем является главным семантическим признаком данных глаголов, а также всего повествовательного текста в целом.

Таким образом, в связи с названными признаками глаголы совершенного вида с аористическим значением обозначают завершенное конкретное действие без указания на характер его протекания. При этом следует отметить, что аористной функцией в повествовательном тексте является выражение действия, представленного в его целостности как совершившийся факт.

Немаловажную роль в создании динамичности речевой ситуации играет количество предметов речи как субъектов-носителей действий или состояний. А. В. Бондарко, развивая теорию о «возникновении новой ситуации» (далее ВНС), выделяет разновидности функции ВНС. Глаголам с аористическим значением соответствует секвентная разновидность функции ВНС, выступающая в двух вариантах: 1) смена ситуаций без указаний на интервалы и 2) смена ситуаций с интервалами [9, с. 155].

Рассмотрим варианты более подробно. В повествовании для выражения хронологически последовательных действий или состояний необходима отнесенность к одному субъекту, развитие этих действий во времени происходит линейно, то есть действия на временной оси происходят в одном направлении, они совпадают с моментами речи [9, с. 65], следующих друг за другом, глаголы выступают как точки. Такая однородность прослеживается, как правило, в сценическом повествовании [8, с.117].

Катя встала, сделала зарядку, умылась, позавтракала и пошла в школу.

В данной повествовательной микротеме сценической разновидности глаголы совершенного вида с аористическим значением (*встала, сделала, умылась, позавтракала, пошла*), расположенные в определенной последовательности указывают на динамику действий одного и того же субъекта действия.

Как видно из примера, эта однородность предикатов, их тесное смыкание одного действия с другим при соотнесении к одному и тому же субъекту присуща первому варианту секвентной разновидности функции ВНС.

Рассмотрим еще пример.

Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана целковый и дал Лихачеву, махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. (Л. Толстой)

В данной микротеме глаголы однородного ряда с аористическим значением (*встряхнулся, вскочил, достал, дал, попробовал, положил*) выражают последовательные действия одного субъекта (*Петя*). Между предикатами нет обстоятельственных временных показателей пауз, что указывает на непосредственное следование одного действия за другим. Значит, в сценическом повествовании при однородности предикатов и отнесении их к одному субъекту реализуется первый вариант секвентной разновидности признака ВНС.

Однако реализация данного типа признака ВНС по отношению к одному субъекту не всегда является единственным условием, поскольку существуют такие речевые ситуации, когда интервалы, паузы между последовательными действиями одного субъекта возможны. Например:

Егор спустился с холма, но через час внезапно появился, ведя за собой козленка. Затем привязал его к колышку и просидел до заката солнца.

В этом примере в выражении последовательности действий играет роль обстоятельство времени (*через час*), передающее их смену.

Развитие сюжета в тексте может продвигаться и с несколькими субъектами. Полисубъектная конструкция встречается в повествовании редко, она является нетипичной для выражения временных отношений между явлениями как диахронных.

Полисубъектная структура повествовательного типа речи соответствует второму варианту секвентной разновидности функции ВНС, когда «во фрагментах текста, представляющих собой объединения самостоятельных простых предложений с разными субъектами, нередко имплицируются паузы между действиями» [9, с. 156]. Например:

Вдруг рванул ветер и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожку; встрепенувшись, рогожка рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. (А. Чехов)

В данном случае паузы между действиями разных субъектов выражены имплицитно, они возможны несмотря на отсутствие обстоятельственных показателей типа *потом, затем* и т.д. Связь между предикатами и предложениями секвентна.

Иногда встречаются такие речевые ситуации, в которых при полисубъектном строении эксплицируется тесная связь между последовательными фактами, происходит смена ситуаций без пауз. Например:

Придворный лакей отворил им двери настежь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел… (А. Пушкин)

Таким образом, наблюдения показывают, что для повествовательного

типа речи характерным является моносубъектное строение, однородность предикатов по отношению к одному субъекту для выражения динамичности последовательных действий глаголами совершенного вида с аористическим значением. Полисубъектная структура для повествования является нетипичной.

Итак, рассмотренный материал со всей очевидностью показывает, что в повествовательном типе речи идеальным средством выражения динамичности действий в их хронологической последовательности являются глаголы прошедшего времени совершенного вида с аористическим значением, выполняющие структурные и коммуникативные функции. Наконец, в аспекте вышеуказанной проблемы можно выделить следующие особенности глаголов совершенного вида с аористическим значением:

- выражение ряда сменяющих друг друга действий;
- выражение единичного целостного факта прошлого;
- выражение «наступлений» фактов: а) при моносубъектной связи; б) при полисубъектной связи;
- выражение «точечного результата», необходимого для другого результативного действия, когда «действие представляется как один момент, независимо от того, как продолжительно оно было на самом деле» [6, с. 193].
- не имеют никакой связи с настоящим на временной оси, то есть «обозначают факт, лишенный какой бы то ни было связи с настоящим» [11, с. 82].

Литература

1. Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Ч. 2. – Братислава: Изд-во Словацкой АН, 1960. – 577 с.
2. Русская грамматика: в 2 т. – М.: Наука, 1980. – Т. 1. – 783 с.
3. Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – М.: Изд-во АН СССР, 1965. – 555 с.
4. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. – 2-е изд. – Л.: Учпедгиз, 1941. – 620 с.
5. Борковский В.И. О языке Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку // Труды Комиссии по русскому языку. – Т. I. – Л., 1931.
6. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. – М.: Просвещение, 1977. – Т. IV. – Вып. II. Глагол. – 406 с.
7. Бондарко А.В. Вид и время русского глагола (значение и употребление). – М.: Просвещение, 1971. – 239 с.
8. Нечаева О.А. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1974. – 261 с.
9. Бондарко А.В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1996. – 219 с.
10. Поспелов Н.С. Мысли о русской грамматике. – М.: Наука, 1990. – 179 с.
11. Прокопович Е.Н. Глагол в предложении. Семантика и стилистика видо-временных форм. – М.: Наука, 1982. – 286 с.
12. Scheljakin M., Schlegel H. Der Gebrauch des russischen Verbalaspekts. – T. 1. Theoretishe Grundlagen. – Potsdam, 1970.

Хандархаева Ирина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Бурятского государственного университета. E-mail: irina-68_68@mail.ru

УДК 482

© *Т.Ю. Игнатович*

Архаические диалектные различия и современные языковые процессы в субстантивной падежной парадигме множественного числа в забайкальских говорах севернорусского происхождения

Статья посвящена рассмотрению субстантивной парадигмы множественного числа в забайкальских говорах. Автор определяет архаичные диалектные различия, унаследованные из севернорусских говоров, и проявления современных языковых процессов, обусловленных действием законов развития русского языка. В контексте современных закономерностей развития идиомов в реликтовых диалектных различиях определяются устойчивые и неустойчивые диалектные черты.

Ключевые слова: забайкальские говоры, существительное, падежная парадигма, множественное число, вариантность окончаний, нейтрализация оппозиций.

T.Yu. Ignatovich

Archaic dialect distinctions and modern language processes in a substantive plural case paradigm in Transbaikalian dialects of North Russian origin

Article is devoted to consideration of a substantive paradigm of plural forms in Transbaikalian dialects. The author defines differences of the archaic dialect, which were inherited from the Northern dialects and defines manifestations of the modern language processes caused by law's action of development of the Russian language. In the context of modern regularities of development of idioms in relict dialect distinctions are defined steady and unstable dialect features.

Keywords: Transbaikalian dialects, a noun, a case paradigm, plural form, variability of endings, neutralization of oppositions.

Данная статья является фрагментом в структурно-системном описании морфологии русских говоров севернорусского происхождения на территории Восточного Забайкалья. Предметом рассмотрения являются падежные формы субстантивной парадигмы множественного числа, которые исследуются с целью определения архаичных диалектных различий, унаследованных из говоров севернорусской материнской основы, и проявлений современных языковых процессов, обусловленных действием законов развития русского языка. В работе ставится задача в контексте современных закономерностей развития идиомов выявить в реликтовых диалектных различиях устойчивые и неустойчивые диалектные черты. Морфология говоров севернорусского происхождения на территории Восточного Забайкалья до настоящего времени остается не исследованной, этим обстоятельством обусловлена актуальность данного научного описания.

В забайкальских русских говорах севернорусского генезиса в субстантивной парадигме мн.ч. нет четкого разграничения, как в ед.ч., на типы склонения. Однако наблюдается, как и во многих русских говорах, зависимость в некоторых падежах вариантности окончаний от рода и типа склонения существительных ед.ч., а также от их акцентологических характеристик [5, с. 129].

В субстантивном склонении мн.ч. в забайкальских говорах наблюдаются конкуренция вариантных падежных окончаний и выработка генерального варианта в рамках действия языкового закона системности, который проявляется в процессах унификации падежной парадигмы, выраженной в стремлении к нейтрализации оппозиций как вертикальных рядов парадигмы, так и горизонтальных.

Конкуренция вариантных окончаний в **Им.п.** субстантивной парадигмы множественного числа с а-экспансией в кругу существительных м.р., отражающей, с одной стороны, процесс специализации парадигмы мн.ч., а с другой – тенденцию к нейтрализации противопоставления м. р. : ср. р. [2, с. 7], рассмотрена нами в одной из опубликованных статей [3].

В **Р.п**. мн.ч. конкурируют окончания *-ов(-ев)* – исконное окончание из основ на *-ŭ, нулевое окончание из основ на *-ŏ((-j ŏ), *-ā (-j ā), на согласный и окончание *-ей* из основ на *-ĭ.

В Р. п. мн. ч. широко представлены формы с окончаниями *-ов, -ев*, репрезентирующихся фонетически в -[оф], -[ъф], -[аф] после твердых согласных, -[еф], -[ьф] после мягких согласных.

У существительных м.р. данные окончания распространены шире, чем в литературном языке, встречаются повсеместно в речи всех возрастных групп не только в соответствии с нормативным литературным окончанием, например: *из домо́ф, без лесо́ф, отцо́ф, мужыко́ф-тъ, из мишко́ф, каланко́ф, чуть ни да мазго́ф, валко́ф, чо было грибо́ф, кавалири́стаф, ис кро́ликаф, от бра́теф, па́льцеф, за́йцеф, шести ме́сицеф* и др., но и в соответствии с нулевым окончанием в литературном языке, например: *из ного́в, шесть разо́ф, двух солда́тоф, у гла́зоф* (с. Большое Казаково, Балейский район; с. Будюмкан, Газимуро-Заводский район), *сапого́ф* (с. Ундино-Поселье, Балейский район), *не купил боти́нкоф* (с. Унда, Балейский район), *пять пра́внучкаф* (с. Старый Олов, Чернышевский район), *у радителеф* (с. Заречное, Нерчинский район) употребляются вариантно *волософ* и *волосо́ф* и др. Это же окончание встретилось в формах мн.ч., осложненных в основе суффиксом *-j-*, например: *двух диве́рьеф растриляли* (с. Александровский Завод), *волосьеф* (с. Унда, Балейский район; с. Будюмкан, Газимуро-Заводский район) и др.

Употребляются словоформы с переносом ударения с основы на окончание, например: *для эвенко́ф* (с. Зюльзя, Нерчинский район), *пальцо́ф, месяцо́ф* (с. Унда, Балейский район; с. Будюмкан, Газимуро-Заводский район; с.Нижний Цасучей, Ононский район), *колокольцо́ф* (с. Ундино-Поселье, Балейский район) и др.

Существительные, называющие детёнышей, в Р.п. мн.ч. имеют вариантные формы: – от основы с суффиксом *-ят* и нулевым (исконным) окончанием, например: *порося́т, котя́т, ребя́т* и др., данные формы употребляются повсеместно, регулярно; – от основы с суффиксом *-ят* и окончанием *-ов*, например: *порося́тов, котя́тов, ребя́тов* и др., данные формы также употребляются повсеместно, регулярно; – спорадически в исследуемых говорах встречается употребление форм от основы ед.ч. с суффиксом -онок- и окончанием *-ов*, например: *поросёнков, котёнков, ребёнков* (с. Будюмкан, Газимуро-Заводский район) и др.

Окончания *-ов, -ев* у существительных м.р. могут вариантно употребляться на месте окончания *-ей*, например: *биз ро́дичеф, шесь ко́неф* (с. Зюльзя, Нерчинский район), *биз ро́дичоф плохо аставаu:а* (с. Пешково, Нерчинский район), *у ради́телеф* (с. Заречное, Нерчинский район), *расла у дя́деф* (с. Митрофаново, Шилкинский район), *гру́здеф много* (с. Верхний Теленгуй, Шилкинский район) и др.

Формы с нулевым окончанием в Р.п. мн.ч. у существительных м.р. также употребляются повсеместно в речи диалектоносителей всех возрастных категорий, например: *воло́с, шесть раз, двух солда́т, у глаз* (повсеместно), *чуло́к-то не было* (с. Пешково, Нерчинский район), *200-300 грам, помидо́р видра два-три, брат жумбу́р лавил, для бара́н садили* (с. Зюльзя, Нерчинский район), *жили у буря́т* (с. Новый Акатуй, Александрово-Заводский район) и др.

Существительное ***день*** встречается в вариантах *дней* (повсеместно) и *дён* (повсеместно в речи диалектоносителей преклонного возраста), например: *сколь дён, сорок дён* (с. Ундино-Поселье, Балейский район), *пять дён не было* (с. Чиндагатай, Александрово-Заводский район) и др. Форма *дён* является реликтовой из основ на согласный, к которым в далеком прошлом относилось это существительное.

Окончание *-ей* у существительных м. р. наблюдается в соответствии с литературным вариантом, например: *из гусей* (с. Зюльзя, Нерчинский район), *из кирпичей, для ко́ней делали, медведе́й полымя было, ис куле́й шили* (с. Новый Акатуй, Александрово-Заводский район), *много звере́й* (с. Верхний Теленгуй, Шилкинский район), *много зве́рей было* (с. Онохово, Балейский район) и др., встречается с расширением сферы употребления на месте *-ев*, например: *бра́тей, сту́лей* (с. Новый Акатуй, Александрово-Заводский район) и др. и в диалектном слове *братове́й* (с. Новый Акатуй, Александрово-Заводский район), подобные формы еще отмечала в Нерчинских памятниках деловой письменности конца XVII – первой половины XVIII вв. Г.А. Христосенко [8, с. 18]. Однако в настоящее время доминирующим окончанием у существительных м.р. в Р.п. мн.ч. является окончание *-ов* (*-ев*).

У существительных ср. р. также повсеместно и в речи диалектоносителей всех возрастных групп наблюдается конкуренция окончаний *-ов* и ну-

левого окончания: употребляются формы с нулевым окончанием: *много дел, мест, болот* (повсеместно), *с этих же мест* (с. Чиндагатай, Александрово-Заводский район) и др., но также активны формы с окончанием *-ов* на месте нулевого, например*: местов, делов, болотов* (повсеместно), *не было местоф, сколько блюдоф* (с. Ильдикан, Балейского района), *дилоф было многа* (с. Чиндагатай, Александрово-Заводский район), *полчаса дилоф, дилоф-то* (с. Зюльзя, Нерчинский район), *пять кальцоф взяла* (с. Александровский Завод), на месте нулевой формы, например: *радивоф не было* (с. Александровский Завод), *киноф не было* (с. Чиндагатай, Александрово-Заводский район).

Формы с окончанием *-ей* у существительных ср.р. встречаются после мягких основ, соответствуют литературным формам, например: *степей много* (повсеместно), *у марей жили* (с. Новый Акатуй, Александрово-Заводский район) и др.

У существительных ж.р. окончание *-ей*, например: *баюсь мышей* (с. Зюльзя, Нерчинский район), *дверей не было* (с. Александровский Завод) и др., распространено шире, чем в литературном языке, например: *кожей, кучей* (Урульга, Карымский район; с. Нижний Цасучей, Ононский район), *баней, деревней, песней* (с. Унда, Балейский район; с. Будюмкан, Газимуро-Заводский район; с. Нижний Цасучей, Ононский район), *обувей не было* (с. Новый Акатуй, Александрово-Заводский район), вытесняя нулевое окончание. В то же время на месте литературного *-ей* встречается окончание *-ев*, например: *шесь медалеф* (с. Александровский Завод).

Формы с нулевым окончанием также употребляются, например: *свадеб, ягод, бабушек, кож, куч, бань, деревень, песен* (повсеместно), *баюсь лягушек, не было музык никаких, работ-то* (с. Зюльзя, Нерчинский район), *паднятие земель* (с. Митрофаново, Шилкинский район), *из дириве́нь приижают, биз рукавиц, куриц имеем, бап ни пущают, с мокрых пилёнак* (с. Новый Акатуй, Александрово-Заводский район), *чаю бис канфет* (с. Александровский Завод), *курок нету, у чушек, пять стен, ис семичек* (с. Чиндагатай, Александрово-Заводский район), *картошек наберу* (с. Ундино-Поселье, Балейский район) и др. Но с ними активно конкурируют формы ж.р. с окончаниями *-ов, -ев*, например: *свадьбов, ягодов, бабушков* (с. Унда, с. Большое Казаково, Балейский район; с. Будюмкан, Газимуро-Заводский район), *из нагоф халадец варили, змееф было пално* (с. Большое Казаково, Балейский район), *банев, деревнев, песнев* (с. Колобово, Балейский район), *Лизоф* (Ундино-Поселье, Балейский район), *приметаф-то многа* (с. Унда, Балейский район), *никаких суботаф не была, шубы ис козеф тоже шили, змееф нету-ка* (с. Зюльзя, Нерчинский район), *фамилеф не знаю* (с. Кирочa, Шилкинский район), *лапатаф ни было, не было склокаф* (с. Митрофаново, Шилкинский район), *сёстроф много было* (с. Макарово, Шилкинский район), *канфетачкаф нету, ни играф нету* (с. Александровский Завод) и др.

Существительное, встретившееся в форме мн.ч. ***боры́*** (оборки), также имеет окончание *-ов*: *баро́ф много было кругом* (с. Новый Акатуй, Александрово-Заводский район).

Таким образом, из вариантных окончаний *-ов* (*-ев*), нулевого и *-ей* наибольшую активность повсеместно и в речи диалектоносителей всех возрастных групп проявляет окончание *-ов* (*-ев*), встречаясь не только у существительных м.р., но и распространяясь на существительных ср.р. и ж.р.

Формы Р.п. мн.ч. у существительных м.р. и ж.р. на *-ов* как диалектную особенность севернорусского характера в памятниках деловой письменности второй половины XVII – начала XVIII вв. отмечает Г.А. Христосенко: *семь верблюдишков, жеребенков* [8, с. 18]. Активность флексии *-ов* (*-ев*) в Р.п. мн.ч. у бо́льшего круга существительных, чем в литературном языке, наблюдается в говорах Сибири [6, с. 270], в том числе и в русских говорах соседней Бурятии [9, с. 56-57]. Широкое распространение флексии *-ов* (*-ев*) у существительных всех типов склонения в Р.п. мн.ч. наблюдают исследователи русских говоров Приамурья [4, с. 6]. В забайкальских говорах севернорусского происхождения при конкуренции окончания *-ов* с нулевым окончанием употребление окончания *-ов* остается достаточно устойчивым диалектным различием, которое сохраняется несмотря на то, что в современном русском языке в последние десятилетия, по наблюдениям М.Я. Гловинской, отмечается рост употребительности нулевой флексии в формах Р.п. мн.ч. [1, с. 240-243]. Конкуренция окончаний в Р.п. мн.ч. отражает унификацию форм на горизонтальной оси парадигмы мн.ч., в этой конкуренции сталкиваются проявления разных языковых законов. Так, в стремлении окончания *-ов* стать основным формальным показателем падежной формы и вытеснить главного конкурента – нулевое окончание проявляется закон аналогии на горизонтальной оси парадигмы, который вырабатывает единообразное оформление падежной формы, выражающей грамматическое значение Р.п. мн.ч., и закон омонимического отталкивания на вертикальной оси парадигмы, который четко противопоставляет форму Р.п. мн.ч другим падежным формам. Конкурентная способность нулевого окончания обеспечивается действием закона аналогии и унификации форм по вертикали парадигмы в рамках тенденции к аналитизму и закона экономии языковых средств.

В середине 70-80-х гг. прошлого столетия в речи диалектоносителей преклонного возраста в Р.п. мн.ч. наряду с формами на *-ов, -ев* встречались формы с окончаниями *-ох* под ударением, безударными окончаниями -[ах], -[ъх], -[ьх]: *без зубо́х осталась* (с. Большое Казаково, Балейский район), *не было атпуско́х; ни зимли, ни дрох; старико́х типерь шипка нет; биз зубо́х асталася; масто́х много было; рыбу ловят на пауто́х, трёх мисицо́х; протих сва́дьбах; кило́метрах наверна́ десять праехали* (с. Алеур, Чернышевский район), *зубо́х нету; пять кла́сс[ъх]* (с. Старый Олов, Чернышевский

район), *ва́нах не было* (с. Онохово, Нерчинский район), *у ради́тел[ьх]* (с. Заречное, Нерчинский район), *ра́дост[ьх] было* (с. Митрофаново, Шилкинский район). В речи одного и того же диалектоносителя наблюдалась вариантность данных форм, например: *у ради́телеф восемь каро́х* (с. Алеур, Чернышевский район). Экспедиции первого десятилетия XXI в. в разные населенные пункты Забайкальского края, анкетирование не зафиксировали формы с ударным окончанием *-ох* типа *зубо́х,* формы с безударными -[ах], -[ъх], -[ьх] встречаются спорадически, например: *у ради́тел[ьх]* (УТШ), *бра́т[ьх] позвала* (с. Макарово, Шилкинский район), *у наших ко́нях* (с. Зюльзя, Нерчинский район) и др. В настоящее время окончание *-ох*, будучи неустойчивым диалектным различием, является утратившейся диалектной чертой, привнесенной из материнских говоров, в которых возникла либо, как считал С.П. Обнорский, в результате перемены артикуляции согласного [ф] на [х] [6, с. 147], что подтверждают примеры типа *протих сводьбах* (с. Алеур, Чернышевский район), *прахнуча́ты* (с. Митрофаново, Шилкинский район), *ва́хли* (с. Старый Олов, Чернышевский район) и др., либо в результате уподобления окончания Р.п. окончанию П.п. по характеру конечного согласного при благоприятных фонетических условиях смешения [ф] и [х] в говорах [5, с. 129]. Сохранению форм Р.п. мн.ч. с безударным окончанием -[ах], -[ъх], -[ьх] в современных забайкальских говорах способствуют их безударность и активный процесс унификации падежных форм по вертикали парадигмы, в том числе Р.п. и П.п. мн.ч. в данном случае по форме П.п. мн.ч., который в настоящее время активно проявляет себя как общерусское явление [1, с. 245].

Тем более, что в **П.п. мн. ч**. наряду с повсеместно и в речи диалектоносителей разных возрастных групп употребляемым окончанием *-ах* (-[ъх]), например: *в дома́х, на коня́х, на лошадя́х, на рука́х* (повсеместно), *мужики на грузи́х* (с. Большое Казаково, Балейский район), *на запло́тах, на ва́линках сидели* (с. Зюльзя, Нерчинский район), *ф синя́х, нъ быка́х вазили, ф карыътъх, ф квашо́нках* (с. Пешково, Нерчинский район), *на потника́х, ф кры́нках* (с. Заречное, Нерчинский район), *в гаршка́х варили, ф триковых штани́шках* (с. Митрофаново, Шилкинский район), *в глаза́х тимно, на шурфа́х работал, на займках, ф тра́вах, пришол на кастыля́х* (с. Новый Акатуй, Александрово-Заводский район), *на лашадя́х, в дая́рках была, ва двара́х, фсю дарогу ф стипя́х, ф пагриба́х стаит, на паля́х работали* (с. Чиндагатай, Александрово-Заводский район) и др. спорадически встречается окончание -аф (-[ъф]): *на быка́ф, на ко́няф* (с. Знаменка, Нерчинский район), *в дома́ф, на ко́няф, на лошадя́ф, на рука́ф* (с. Будюмкан, Газимуро-Заводский район), *в ла́мпаф никаво не было* (с. Чиндагатай, Александрово-Заводский район), *на се́ялкаф работал* (с. Чирон, Шилкинский район) и др. Окончание *-аф* в П.п. мн.ч. появилось в результате уподобления окончанию Р.п. мн.ч. Как отмечает Русская диалектология 2005, толчком к

взаимодействию этих форм могли послужить омонимия согласуемых с ними форм прилагательных и фонетическое условие произношения [х] в соответствии с [ф] [5, с. 129]. Данное явление встречается в говорах севернорусского наречия к югу от Белого озера, а также в тверских и владимирских говорах [5, с. 129]. Можно предположить, что в забайкальские говоры оно было привнесено из материнских диалектов. В настоящее время в забайкальских говорах ударное окончание *-аф* встречается спорадически, безударное окончание в огласовках – [ъф], -[аф] наблюдается чаще, так как, на наш взгляд, поддерживается общерусским процессом унификации форм Р.п. и П.п. мн.ч. и уменьшения формального контраста между падежами [1, с. 243].

Д.п. мн.ч. характеризуется окончаниями, идентичными окончаниям литературного языка, *-ам* (-[ъм], например: *ко двора́м, по дома́м, к саня́м, к лошадя́м* (повсеместно), *па заи́мкам, г зиркала́м рамки* (с. Зюльзя, Нерчинский район), *рибя́там шили* (с. Заречное, Нерчинский район), *па бая́нам припадаватель, по лушка́м хадили, к рибити́шкам ушол, гаварите старика́м, польта рибя́там дубила* (с. Новый Акатуй, Александрово-Заводский район), *хадили па дама́м, па у́лицам щёлкам* (с. Александровский Завод), *растёт па скала́м* (с. Большое Казаково, Балейский район), *бегала па сва́дьбам* (с. Онохово, Балейский район) и др.

В **Т.п. мн.ч.** повсеместно в речи диалектоносителей всех возрастных групп доминирующим окончанием является *-ами* ([ъм’и]): *с двора́ми, за дома́ми, с коня́ми, рука́ми, с лошадя́ми, с людя́ми, у́тками, де́вками, стару́хами* (повсеместно), *гладили утюга́ми, жали сирпа́ми, пахали лошадя́ми, з диньга́ми, убираем грабля́ми* (с. Зюльзя, Нерчинский район), *ле́нтами, с визи́тами* (с. Заречное, Нерчинский район), *пилить рука́ми, куска́ми иво мерет, карто́шками, пла́ттями* (с. Ундино-Поселье, Балейский район), *за драва́ми, багаславляли ико́нами, з ба́бами дируца, рю́мачками* (с. Онохово, Балейский район), *конными ме́льницами, вёдрами* (с. Митрофаново, Шилкинский район), *рука́ми жали, угля́ми варили самавар, пиривязаны зме́ями, гот нага́ми ни хадила, с мужика́ми наряду* (с. Новый Акатуй, Александрово-Заводский район), *сирпа́ми жали, ни насилии з ды́рами, брёмнами, хлистали па́лками, ичиги с каблучка́ми, руками надо* (с. Чиндагатай, Александрово-Заводский район) и др.

Окончание *-ами* может перетягивать ударение с основы на себя, например: *хазяива́ми* (повсеместно), *с писня́ми, сваими срицтва́ми* (с. Зюльзя, Нерчинский район). Словоформа с ударением на окончании *деньга́ми* (с. Зюльзя, Нерчинский район) в последние годы вытесняется словоформой с ударением на основе *де́ньгами.* В основах с суффиксом -j- также употребляется окончание *-ами*, например: *коро́бьями* (с. Ундино-Поселье, Балейский район), *стака́ньями* (с. Онохово, Балейский район) и др.

В 70–80-е гг. прошлого столетия во многих забайкальских говорах севернорусского происхождения в речи диалектоносителей преклонного возраста в Тв.п. мн.ч. наряду с окончанием *-ами* наблюдалось употребление окончания *-ам*, как следствие совпадения форм Т.п. и Д.п. мн.ч. по форме Д.п. мн.ч., например: *с дворáм, за домáм, с конём, рукáм делали, с лошадём работал, с людём жить* (с. Большое Казаково, Балейский район), *па ýткам, за дéвкам, са старýхам* (с. Большое Казаково, Балейский район; с. Нижний Цасучей, Ононский район), *за крыначкам хадила, веили лапáтам* (с. Ундино-Поселье, Балейский район), *с ребятúшкам, рукáм взял* (с. Номоконово, Шилкинский район), *цепём молотили, деньгáм не брали* (с. Унда, Балейский район), *сирпáм жали, с карóвам жили, пашли с мишкáм, слигáм гарадили, даскáм скалачивали, жырдём гарадили, сын з дитём сидит, истапила щепачкам* (с. Новый Акатуй, Александрово-Заводский район), *лапáтам кидали, гваздём гародят, жали рукáм, с канфéтам кушайте, з дитём были, визали снапáм* (с. Чиндагатай, Александрово-Заводский район) и др. В наречиях, образованных на основе формы Т.п., также отражено совпадение по форме Д.п.: *видут парачкам* (с. Новый Акатуй, Александрово-Заводский район). Наблюдения над диалектной речью в годы первого десятилетия XXI в. показывают снижение употребительности данной формы Тв.п. мн.ч. на *-ам* даже в речи диалектоносителей преклонного возраста. С середины 70-х гг. прошлого века сменилось поколение диалектоносителей, и в настоящее время в старшей возрастной группе это диалектное различие встречается редко, например: *вёдрам насили, пат пóлачкам* (с. Зюльзя, Нерчинский район), *са старýхам сижу, з дéфкам гулят* (с. Будюмкан, Газимуро-Заводский район), *рукáм делали, дóскам пакрыли* (с. Унда, Балейский район), *с тилятам работала, пирог з груздём* (с. Верхний Теленгуй, Шилкинский район) и др.

Совпадение форм Д.п. и Тв. п. мн.ч. является одним из основных признаков Северного наречия [5, с. 129]. В исследуемых забайкальских говорах унифицированная форма Т.п. по форме Д.п. мн.ч. является утрачивающейся, а значит неустойчивой, диалектной особенностью, привнесенной из материнских севернорусских говоров. Данная диалектная черта отмечалась в сибирских говорах А.М. Селищевым [7, с. 270], как спорадическое явление ее фиксирует Э.Д. Эрдынеева в русских говорах Бурятии [9, с. 57]. По данным диалектологов Приамурья, в русских приамурских говорах указанная унифицированная форма довольно часто наблюдается в речи старшего поколения [4, с. 6]. Неустойчивость и наблюдающаяся утрата следов материнской нейтрализации оппозиций Д.п. : Тв.п. в забайкальских говорах обусловлены как влиянием общерусской морфологической системы, главным образом, литературного языка, в которой оппозиция Д.п : Тв.п. четко выражена с помощью окончаний, так и действующими внутри диалектной системы закономерностями, в частности проявлением омонимического от-

талкивания, стремлением к формальной дифференциации средств, выражающих разные падежные значения.

В исследуемых забайкальских говорах также встретились словоформы Тв.п. мн.ч. с нерегулярными окончаниями: *-ама*: *жали рукама* (с. Новый Акатуй, Александрово-Заводский район), которое является реликтовым окончанием в прошлом существовавшего двойственного числа, оно привнесено из материнских севернорусских говоров [5, с. 130]; *-амя*: *лавили удачкамя, нидоткамя* (с. Онохово, Балейский район) – контаминированное окончание из *-ама* и *-ами*; *-ими*: *пру́тими* (с. Митрофаново, Шилкинский район) – появлении такого варианта в заударной позиции после мягкого согласного вызвано отражением икающего произношения.

Окончание *-ми*, восходящее к типу склонения существительных с основой на *-i, употребляется редко, например: *с лошадьми́, с людьми́* (с. Колобово, Балейский район; с. Будюмкан, Газимуро-Заводский район; с. Нижний Цасучей, Ононский район), повсеместно употребляются формы с ударным окончанием *-а́ми*, например: *с лошадя́ми, людя́ми*.

Зафиксирована форма Д.п., совпадающая по форме с Т.п.: *сидят по жалабами* (с. Чиндагатай, Александрово-Заводский район), отражающая нейтрализацию оппозиций Д.п.: Тв.п. по форме Тв.п. В севернорусских говорах в пределах одного идиома встречаются двухвариантные нейтрализации этих членов падежной парадигмы, например в вятских говорах [2, с. 6], в забайкальских говорах такой рефлекс говоров материнской основы является остаточным следом и практически утратившейся диалектной особенностью.

Таким образом, исследование субстантивной парадигмы множественного числа в современных русских говорах севернорусского генезиса на территории Восточного Забайкалья выявило конкуренцию вариантных окончаний и сохраняющуюся тенденцию к выработке генерального варианта, например, на горизонтальной оси парадигмы в Р.п. мн.ч – окончания *-ов*, чтобы обеспечить единообразное оформление падежной формы, выражающей грамматическое значение Р.п. мн.ч.. Активное функционирование этого варианта поддерживается законом аналогии на горизонтальной оси парадигмы и законом омонимического отталкивания на вертикальной оси парадигмы, который четко противопоставляет форму Р.п. мн.ч. другим падежным формам. Параллельное существование нулевого окончания обеспечивается действием закона аналогии и унификации по вертикали парадигмы в рамках действующих в русском языке тенденций к аналитизму и закона экономии языковых средств.

В современных русских говорах Восточного Забайкалья наблюдаются рефлексы нейтрализаций оппозиций на вертикальной оси падежной парадигмы мн.ч., а именно Р.п. : П.п, Д.п. : Т.п., привнесенные из материнских севернорусских говоров. В настоящее время рефлекс нейтрализации оппозиции Р.п. : П.п. ударное окончание *-о́х* в форме Р.п. мн.ч. является практи-

чески утратившейся диалектной чертой, так как крайне редко встречается в речи диалектоносителей преклонного возраста, в речи молодого поколения не фиксируется. Безударные рефлексы -[ъх], -[ах] в Р.п. мн.ч. и -[ъф], -[аф] в П.п. мн.ч. поддерживаются общерусским процессом унификации падежных форм Р.п. и П.п. Также наблюдаются неустойчивость и процесс утраты следов материнской нейтрализации оппозиций Д.п : Тв.п. по форме Д.п. мн.ч. с окончанием *-ам* или по форме Тв.п. мн.ч. с окончанием *-ами* под влиянием общерусской морфологической системы, главным образом, литературного языка, в которой оппозиция Д.п : Тв.п. четко выражена с помощью окончаний, а также действующими внутри диалектной системы закономерностями, в частности проявлением омонимического отталкивания, стремлением к формальной дифференциации средств, выражающих разные падежные значения.

Литература

1. Гловинская М.Я. Активные процессы в грамматике // Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI веков / Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН. – М.: Языки славянских культур, 2008. С. 185-267.

2. Долгушев В.Г. Динамика развития падежной системы русского языка (на материале вятских говоров): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Спец. 10.02.01 – русский язык. – М.: Изд-во МГПИ, 1985. – 16 с.

3. Игнатович Т.Ю. Номинатив субстантивного склонения множественного числа в современных русских говорах севернорусского происхождения на территории Восточного Забайкалья // Гуманитарный вектор. – Чита: Изд-во ЗабГГПУ, 2011. – № 2 (26). – С. 209-212.

4. Краткая характеристика говоров старожилого русского населения Приамурья // Словарь русских говоров Приамурья / авт.-сост. О.Ю. Галуза, Ф.П. Иванова и др.; 2 изд., испр. и доп. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. – С. 4-8.

5. Русская диалектология: учебник для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений / С.В. Бромлей, Л.Н. Булатова, О.Г. Гецова и др.; под ред. Л.Л. Касаткина – М.: Академия, 2005. – 288 с.

6. Русская диалектология / под ред. Н.А. Мещерского. – М.: Высш. шк., 1972 . – 302 с.

7. Селищев А.М. Диалектологический очерк Сибири // Избранные труды. – М.: Просвещение, 1968. – 223-389.

8. Христосенко Г.А. Фонетическая система языка нерчинской деловой письменности второй половины 17 – первой половины 18 веков: дис. … канд филол. наук. – Красноярск, 1975. – 228 с. ил.

9. Эрдынеева Э.Д. Диалектная речь русских старожилов Бурятии / отв. ред. В.И. Рассадин. – Новосибирск: Наука, 1986. – 95 с.

Игнатович Татьяна Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Лингвистическое краеведение Забайкалья» Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского (ЗабГГПУ).

E-mail: ignatovich_chita@mail.ru

УДК 413.11

© *Т.В. Федотова*

Русские говоры и языковая ситуация Забайкальского края как факторы формирования топонимической системы

В статье анализируются факторы, повлиявшие на формирование топонимической системы Забайкальского края. Рассматривается зависимость местных географических названий от диалекта, а также аспекты междиалектного и межъязыкового взаимодействия при топонимообразовании региона.

Ключевые слова: топонимическая система, русские говоры, диалекты, языковая ситуация, топонимообразование.

T.V. Fedotova

Russian dialects and the language situation Trans-Baikal region as factors in the formation of toponymic system

The article analyzes the factors, that influenced forming of toponymic system in Trans-Baikal region. The author considers the dependence of local geographic names from dialect and also discusses some aspects of interdialect and interlanguage interaction in the forming of toponyms.

Keywords: toponymic system, Russian speech, dialects, linguistic situation, toponym forming.

Важным источником реконструкции прошлых связей населения Забайкальского региона являются данные местных говоров. Относительно указанной территории необходимо заметить, что говоры не исследованы в полном объеме, так как не выработано целостного представления об истории их формирования, подтвержденного научными доказательствами. На основе существующих исследований можно сделать краткий обзор состояния русских говоров Забайкалья.

В языковом отношении забайкальские русские говоры не представляют собой однородного образования, так как имеют различия в материнской основе и в ходе развития подвергались различным влияниям разной степени интенсивности, в результате чего при исследовании говоров возникла проблема определения генезиса и основного типа говоров. В истории формирования русских говоров Восточного Забайкалья существенными фактами являются исторические сведения по истории освоения края русским населением, позволяющие определить происхождение переселенцев в исследуемый период.

Нерчинский острог заселили выходцы из разных сибирских острогов и городов. По данным Сибирского приказа, в Нерчинский острог в 1658 г. пришли выходцы из следующих сибирских территорий: из Тобольска – 60 чел., Томска – 50 чел., Тюмени – 40 чел., Березова – 40 чел., Илимска –

40 чел., Тары – 30 чел., Верхотурья – 20 чел., Пелыма – 15 чел., Красноярска – 15 чел., Кузнецка – 10 чел., Туринска – 10 чел., Енисейска – 10 чел и Сургута – 10 чел. [11, с. 166]. Таким образом, в Нерчинске было сконцентрировано русское население Западной и Восточной Сибири. Поскольку большое количество енисейских служилых оказалось в числе постоянных нерчинских жителей, то, по мнению Г.В. Христосенко, можно утверждать северно-русское происхождение части жителей Нерчинска. В Нерчинске осела небольшая часть угличан, так как Пелым «насадиша угличанами ссыльными» [11, с. 168].

Таким образом, русские говоры Восточного Забайкалья сложились сравнительно поздно: формирование их началось со второй половины XVII в. с приходом на территорию Забайкалья первых русских поселенцев.

Появившиеся в Забайкалье в середине XVII в. русские, в основном выходцы из северных районов России, украинцы, белорусы, отчасти поляки позволили развиваться здесь славянскому населению. Эти первые колонисты положили основу будущего забайкальского старожильческого населения, говоры которых и стали называться старожильческими [5, с. 203]. Они сформировались в первый период на диалектной основе севернорусских говоров и характеризуются совокупностью признаков, частью общих с русскими говорами северного наречия, а частью возникших в местных условиях в результате междиалектных и межъязыковых контактов. Это современные говоры Шилкинского, Нерчинского, Балейского, Чернышевского районов.

В связи с переселенческой политикой Российского государства среди русского населения Забайкалья во второй половине XVIII в. выделилась локальная этноконфессиональная группа, получившая название «семейские». Семейские – это потомки старообрядцев (староверов), насильственно выселенных из бывших владений Польши – «Черниговской (Стародубье) и Могилевской (Ветка) губерний». В результате формируются старообрядческие говоры (говоры семейских). В настоящее время потомки семейских в основном проживают в Красночикойском и Хилокском районах Забайкальского края.

По вопросу о происхождении старожильческих говоров мнение исследователей однозначно: их материнской основой являются средне- и севернорусские говоры. О происхождении же старообрядческих говоров есть два мнения: одни ученые считают, что эти говоры восходят к говорам южнорусского наречия, другие относят их к говорам, имеющим средне- и севернорусскую основу. По мнению М.Б. Матанцевой, «формировавшийся на протяжении более трехсот лет в сибирских условиях говор семейских стал своеобразным «сплавом» севернорусских, среднерусских и южнорусских говоров, сохранив при этом все основные языковые черты материнского южнорусского говора» [7, с. 55].

Можно сделать вывод, что русские говоры Забайкалья – говоры вторичного образования, сформировавшиеся на диалектной основе говоров европейской части России, их диалектная лексика представляет собой сложное явление с точки зрения генезиса. Как считает Л.И. Баранникова, «говоры территорий позднего заселения обычно характеризуются значительной сложностью и пестротой, … языковые отношения в таком случае имеют весьма сложный и разнообразный характер; это сказывается на особенностях говоров, в развитии которых можно наблюдать действие многих взаимопереплетающихся факторов» [1, с. 4].

Безусловно, в локальных языковых системах происходят процессы общерусского интралингвистического характера, процессы интеграционного характера, которые обусловливают изменения в системе диалектов. В настоящее время в работах по изучению русских говоров Восточного Забайкалья (О.Л. Абросимова, Т.Ю. Игнатович, Е.И. Пляскина) отмечается тот факт, что под влиянием литературного языка (усиление этого влияния наблюдалось во второй половине XX в. с распространением повсеместной грамотности, радио, телевидения, печатных СМИ), а также близкого и длительного соседства с акающими говорами более поздних переселенцев черты северновеликорусского происхождения ослабли, диалекты приобрели переходный среднерусский характер. В свою очередь, семейские говоры попали под влияние соседствующих русских старожильческих говоров и, безусловно, испытывают также воздействие и со стороны литературного языка. Как считает Т.Ю. Игнатович, происходит интеграция территориальных диалектов и общенародного просторечия, что, безусловно, приводит к обеднению территориальных диалектов [4, с. 44]. Причем, как показывают исследования последних лет, влияние названных факторов часто мотивировано экстралингвистическими причинами. Так, в красночикойских говорах семейских, сформировавшихся на южнорусской основе, изменения протекают медленнее, чем в центральных районах Забайкальского края, сформировавшихся на севернорусской основе. Исследователи объясняют это определенной социокультурной замкнутостью, связанной со стремлением сохранить культурные традиции семейских, сформированные на старообрядческой культуре и мировосприятии.

Диалекты отличаются от литературного языка на всех языковых уровнях. На территории Забайкальского края в речи местных жителей используются как узуальная, так и диалектная лексика: природные явления (*елань* ‘равнина между горами’; *ургуль* ‘подснежник’); предметы быта (*поварьга* ‘половник для супа’); названия одежды (*лопать* ‘рабочая одежда из грубой ткани’; *курмушка* ‘стеганая куртка’); постройки (*заимка* ‘дом в лесу’; *куть* ‘кухня’); кушанья (*шиля* ‘бульон’); родство (*сестреница* ‘двоюродная сестра’; *отхон* ‘младший ребенок в семье’) и др. Кроме этого, в забайкальских говорах севернорусского происхождения преобладает севернорусская лексика: *петух*, *изба*, *квашня*, *шаньги*, *корчага* и др. В говорах южнорусского

происхождения преобладает южнорусская лексика: *кочет*, *хата*, *дежа*, *поветь*, *монисты* и др.

К факторам, отражающим специфические региональные изменения, относится не только инодиалектное влияние, но и воздействие автохтонных языков. Считается, что региональный колорит русские говоры Забайкалья получили в результате воздействия языков аборигенов, что нашло заметное отражение на лексическом уровне в виде заимствований из бурятского и эвенкийского языков. Сферы функционирования таких заимствований достаточно разнообразны: *мангыр* 'дикий лук', *аршан* 'минеральный источник', *бутан* 'куча песка', *гуран* 'дикий козел', *даган* 'двухлетний жеребенок' и др.

Таким образом, при утрате материнских диалектных особенностей, различающих забайкальские русские говоры, сохраняются некоторые наиболее устойчивые региональные элементы, которые становятся общими для обеих региональных подсистем и дают основание предположить формирование наддиалектного единства – забайкальского койне (региолекта) [9, с. 182-183].

Относительно исследуемой топонимической системы необходимо отметить, что зависимость местных географических названий от диалекта – один из важнейших вопросов при исследовании топонимии любого региона, так как «топонимы, прикрепленные территориально и функционирующие в среде диалектоносителей, не могли не отразить фонетические, грамматические и лексические особенности местного языка» [3, с. 152]. Справедливо на этот счет мнение Н.К. Фролова, что диалектная лексика и диалектная топонимическая лексика – материальная база узуальной топонимии; «диалектонимия и топонимия в их совокупности определяют специфику русской региональной топонимии, которая во взаимодействии с аборигенной топонимией образует топонимическую систему» [10, с. 31].

Помимо влияния говоров на формирование региональной топонимической системы, стоит сказать и о зависимости данного процесса от сложившейся языковой ситуации. Под понятием «языковая ситуация» мы понимаем совокупность форм существования одного языка//языков в их территориально-социальном взаимоотношении и взаимодействии в границах определенных географических регионов. Языковая ситуация Забайкальского региона характеризуется сложностью и многоаспектностью. На территории Забайкальского края проживают представители 26 национальностей. В регионе наблюдается взаимодействие культур и двуязычие. На основе длительных контактов русских с коренными народами Забайкалья (бурятами и эвенками) шел интенсивный процесс взаимодействия этих языков, в результате чего сформировались разные варианты билингвизма (русско-национальное, национально-русское). По данным переписи 1989 г., в Читинской области бурятским языком владело 61,6 тыс. чел. (на территории Агинского Бурятского автономного округа – 42,3 тыс. чел.), эвенкийским –

0,5 тыс. чел. [6, с. 79].

Вопрос о взаимодействии и взаимообогащении русского и бурятского языков был и остается самым актуальным и в наше время. Русский язык подвергся значительному влиянию со стороны языков аборигенов края. По мнению Л.Е. Элиасова, «бурятский и эвенкийский языки оказали большое влияние на разговорную речь русских старожилов Забайкалья. Это влияние проходило на протяжении более трехсот лет, оно продолжается в какой-то степени и теперь [12, с. 40].

Характер взаимодействия двух разноструктурных, находящихся в непосредственном контакте русского и бурятского языков разный. По мнению О.Д. Бухаевой, русизмы широко вошли не только в бурятские говоры, но и в литературный язык, бурятизмы – в основном в русские говоры и устное народное творчество, хотя и в русском литературном языке немало слов, заимствованных в разные периоды взаимодействия русского и монгольского языков: *аркан, тарбаган, мерин, гуран, доха, малахай, аргал* и др., отмеченные в нормативных словарях. Эти слова могли проникнуть в русские говоры и до переселения их носителей в Забайкалье [2, с. 41].

Конечно, процесс междиалектного и межъязыкового взаимодействия не становится обыкновенным вытеснением одних слов другими, так как сложные взаимоотношения языков и форм определяются сознанием говорящего. Приспосабливаясь к новым условиям на новых землях, переселенцы прибегали к помощи местного населения. Русские, заселяя новые места, использовали лексику аборигенов не только в быту, но и в топонимии, принимая названия тех мест, куда они переселялись. Не случайно М.Н. Мельхеев отмечает, что «в результате длительного продолжительного процесса … образовалась сложная топонимия в виде наслоения географических названий различного языкового происхождения: палеоазиатского, эвенкийского, самодийского, тюркского, монгольского, бурятского, русского» [8, с. 15].

Таким образом, сложившееся двуязычие определяет своеобразие сформировавшейся топонимической системы. Это своеобразие характеризуется присутствием параллельных онимических систем. При этом данный параллелизм нельзя назвать абсолютным. Разноязычные, разнокультурные и хронологически разновременные (по происхождению), они между тем имеют одну территорию, т.е. соответствуют одному из признаков топонимической системы.

Все названные аспекты формирования топонимической системы, являясь одновременно и факторами названного процесса, должны учитываться, анализироваться при изучении любой топонимической системы, так как полученные данные позволяют говорить о системности географических названий региона, в которой названные факторы находят свое взаимодействие и взаимовлияние.

Литература

1. Баранникова Л.И. Специфика лексико-семантических процессов в говорах территории позднего заселения (к проблеме влияния литературного языка на диалекты) // Диалектная лексика в русских говорах Забайкалья / под ред. В.И. Рассадина. – Улан-Удэ, 2002.
2. Бухаева О.Д. О лексическом взаимодействии русского и бурятского языков (на материале диалектной лексики) // Русские народные говоры Забайкалья. – Улан-Удэ, 1995. – С. 40-50.
3. Воробьева И.А. Русская топонимия средней части бассейна Оби. – Томск, 1973. – 248 с.
4. Игнатович Т.Ю. К вопросу формирования русских старожильческих говоров Восточного Забайкалья // Проблемы исторической и современной русистики: материалы регион. науч. конф. – Хабаровск, 2008. – С. 21-36.
5. Константинова Н.Н., Болонев Ф.Ф. Этническая история и состав населения края // Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. Т.1. / под ред. Р.Ф. Гениатулина. – Новосибирск, 2000. – С. 203-204.
6. Любимова Л.М. Языковая ситуация // Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. Т.1. / под ред. Р.Ф. Гениатулина. – Новосибирск, 2000. – С. 79.
7. Матанцева М.Б. Лексические контакты говора семейских с сибирскими старожильческими говорами и русским литературным языком // Русские народные говоры Забайкалья. – Улан-Удэ, 1995. – С. 54-63.
8. Мельхеев М.Н. Топонимика Бурятии. – Иркутск, 1969. – 186 с.
9. Регионализация образования (на примере Забайкалья) / под ред. Л.А. Бордонской, М.И. Гомбоевой, Л.В. Черепановой. – Чита, 2007. – 313 с.
10. Фролов Н.К. Семантика и морфемика русской топонимии Тюменского Приобья. – Тюмень, 1996. – 160 с.
11. Христосенко Г.А. К истории заселения Нерчинского острога // История городов Сибири досоветского периода. – Новосибирск, 1977. – С. 153-175.
12. Элиасов Л.Е. Бурятские и эвенкийские заимствования в языке русского старожилого населения Забайкалья (на материале произведений устного народного творчества Сибири) // Развитие литературных языков народов Сибири в советскую эпоху. – Улан-Удэ, 1965.

Федотова Татьяна Васильевна, доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского (ЗабГГПУ).

E-mail: Fedotova66@mail.ru

УДК 412.3 : 48-53

© *О.В. Боярская*

Отглагольные имена прилагательные в «Описаніи заводскихъ зданій и устройствъ» Златоустовского Завода (1811 г.)

В статье рассматривается функционирование имен прилагательных, образованных от глаголов и глагольных словосочетаний, в описании «Строеній Златоустовскаго Завода» 1811 г., хранящемся в Объединенном государственном архиве Челябинской области

Ключевые слова: отглагольные адъективы, функциональная семантика, описание, скорописный документ

O.V. Boyarskaya

Verbal adjectives in «The description of factory buildings and devices» Zlatoustovsky Factory (1811)

In article functioning of the adjectives formed from verbs and verbal word-combinations, in the description «Structures of Zlatoustovsky Factory» (1811) kept in Incorporated state archive of the Chelyabinsk area is investigated.

Keywords: verbal adjectives, functional semantics, the description, cursive writing

«Описаніе заводскихъ зданій и устройствъ / при передачѣ ихъ отъ Кнауфа[1] въ казенное управленіе» – дело 1811 г., хранящееся в одном из исторических фондов Объединенного государственного архива Челябинской области [3]. Оно включает 88 архивных листов скорописи с оборотом, содержащих два экстракта о стоимости заводского имущества. Во втором экстракте после перечня имущества на 83 листах помещены описания «Строеній Златоустовскаго Завода». Описание каждого объекта имеет порядковый номер и представляет собой законченный текст, в котором отражены:

– местоположение, размеры, особенности строения;

– использованные строительные и отделочные материалы;

– оценка физического состояния постройки на момент составления документа;

– фрагментарное перечисление элементов убранства (для жилых помещений) или описание устройства заводских строений (фабрик, мостов заводского действия, плотины и т.п.).

Коммуникативная цель (зафиксировать объем и состояние имущества для экономической оценки) и композиция текстов определяют использова-

[1] А.А. Кнауф – московский купец 1 гильдии, владевший Златоустовским заводом в 1801–1811 гг.

ние в документе специальной строительной, технической лексики. Функционально-смысловой тип речи и жанр обусловливают высокую частотность употребления имен существительных, прилагательных, причастий. В рамках данной статьи будут рассмотрены особенности функционирования только отглагольных имен прилагательных.

Исследователями истории русского языка были выделены такие тенденции развития специальной лексики XVIII–XIX вв., и в ее составе имен прилагательных, как:

– интенсивное появление новообразований в памятниках делового языка, в том числе прилагательных в составных терминах;

– «развитие словообразовательной системы прилагательных» как результат развития «специальной профессиональной речи» [4, с. 524];

– дифференциация значений «синонимичных однокоренных параллелей» с разными словообразовательными аффиксами [2, с. 303];

– увеличение количества отглагольных прилагательных, сохраняющих «сильную процессуальность», свидетельствующую «о расширении семантической емкости» этого лексико-грамматического класса [2, с. 302];

– образование прилагательных от глаголов в основном с помощью суффиксов: *-м-, -л-, -уч-, -ач-, -льн-, -тельн-, -к-, -чив-*, реже – *-н-, -лив-, -ист-, -чат-* [4; 5].

В рассматриваемом документе имена прилагательные образованы от глаголов морфологическим способом:

1) суффиксальным – с помощью аффиксов *-нн-, -н-, -льн-, -тельн-, -ач-/-яч-* (*бракованный; подливной; све(ѣ)рильный*[1], *строильный, цементовальный, плющиленный, гвоздилѣнный; стоячий, лѣжачий; маховой; нагревательный*);

2) сложением – от словосочетаний с сильным беспредложным объектным управлением (*лѣсопиленный, мѣдиплавиленный, мукомолн(енн)ый, желѣзонагревательный, вододѣиствуемый и др.*).

Выявленные единицы употребляются при описании устройства заводских строений в специальных номинациях объектов и предметов промышленного производства в следующих значениях:

- видовой функции, т.е. функции, выполняемой предметом / объектом, названным определяемым субстантивом;

- качества предмета / объекта, названного определяемым субстантивом;

- положения в пространстве конструкции.

I. Отглагольным адъективам свойственно преимущественно значение «выполняющий **функцию**, названную производящим инфинитивом / словосочетанием» или «предназначенный для выполнения действия, названного производящим инфинитивом / словосочетанием», т.е. они обозначают функцию родового объекта / предмета, идентифицируя его вид: «*по другую*

[1] В примерах сохранена орфография источника, варианты указаны в скобках.

сторону ***сливнаго*** *моста / **вододѣйствуемой** ларъ провед'ѣнъ изъ ве/шнячнаго втораго прореза*» [3, Л. 48].

Поэтому наряду с данными отглагольными прилагательными могут употребляться однокоренные отглагольные существительные со значением предмета, выполняющего одноименную функцию (образованы посредством суффикса *-л-*: *сушильной // сушило*) или процесса, т.е. самой функции (образованы посредством суффикса *-ениj-*: *плющиленной // плющеніе*):

«***Сушильной** сарай для л'ѣсныхъ припасовъ*» [3, Л. 3об.] – «*пристроены / из бутоваго камня два **сушила***» [3, Л. 52];

«*въ немъ [**плющиленной** чугунной станъ] // для **плющенія** жел'ѣза Укреплены на м'ѣдныхъ /подщипникахъ ... жел'ѣзные два вала*» [3, Л. 73].

Функционально могут субстантивироваться отглагольные прилагательные, обозначающие вид строения, предназначенного для выполнения определенного действия или процесса: *сверильная фабрика – св'ѣрильная*.

Адъективы, образованные сложением, включают в свою структуру основы со значением материала (вещества), объекта и, в большинстве случаев, направленного на него действия (*м'ѣдиплавиленная печь, л'ѣсопиленная мелница*), реже – действия, производимого этим материалом (*вододѣйствуемое кол'ѣсо*).

2. Собственно **качество** предмета отглагольные прилагательные обозначают по двум параметрам: 1) по характеру или материалу обработки: «*дв'ѣрь изъ **колотаго / пластинника***» [3, Л. 79], «*жел'ѣзные два вала, наварен/ные **цементованною** сталью*» [3, Л. 73]; 2) по соответствию установленной норме: «*фабрика перекрыта **бракованнымъ** / листовымъ железомъ //*» [3, Л. 63об].

3. Характеризуя положение предмета в пространстве конструкции, отглагольные прилагательные дифференцируют: 1) **положение** предмета относительно вертикали или горизонтали (наряду с отсубстантивными) и 2) способ его крепления. В этих значениях они выражают не функциональное действие, а статичное действенное **состояние** предмета. В свою очередь, при необходимости такое состояние может дополнительно конкретизироваться зависимыми словами: «*къ оному [**стоячему**] **валу** при/креплено деревянными хрестовинами и железными скобами сухое **л'ѣжач'ѣе кол'ѣсо***» [3, Л. 71об], «*[шахта покрыта] крышею на 2 ската / Утвержденною на двухъ **л'ѣжачихъ по бокамъ / бревнахъ***» [3, Л. 78об.].

В зависимости от контекста, наличия зависимого слова морфологический статус атрибутивных лексем варьируется. При отсутствии зависимого слова причастия прошедшего времени совершенного вида, как и в современном русском языке, принимают «типичное адъективное значение» – «значение свойства, возникшего как результат совершенного действия» [1, с. 150]: «*положены на стоячих и косыхъ стойкахъ / **обвязанные брусьями перевески***» [3, Л. 44об] – «*покрыты кровельнымъ т'ѣсомъ / на обрешетчатыхъ стропилахъ, Утверждены <...>/ въ **обвязанныхъ***

брусьяхъ» [3, Л.12об].

В целом параллельное образование от однокоренных глаголов с разными префиксами и суффиксами свойственно адъективным лексемам с разным значением: состояния (*обвязанный – связный*), функциональным (*сливной мостъ – подливное колѣсо, цементовальная печь*), качества (*цементованная сталь*). Этот процесс свидетельствует о необходимости различения в профессиональной речи признаков, выделяемых на основе одного действия (или действия, связанного с одним предметом, процессом), но выполняемого по-разному, следовательно, обозначающего разные функции.

Таким образом, краткий анализ особенностей словообразования и употребления отглагольных прилагательных в региональном тексте специального описания строения и устройства заводских объектов начала XIX в. позволяет сделать следующие выводы:

– в данном контексте выявленные адъективы являются элементами составных терминов и обозначают функции, качество, положение (состояние) их денотатов;

– употребление специальных отглагольных адъективов в южноуральском материале отражает общие тенденции формирования терминосистемы русского языка и развития лексико-грамматического класса имен прилагательных.

Литература

1. Лопатин В. В. Адъективация причастий в ее отношении к словообразованию // Лопатин В. В. Многогранное русское слово : избр. ст. по русскому языку / ИРЯ им. В.В. Виноградова. – М. : Азбуковник, 2007. – С. 139-155.

2. Мальцева И.М., Молотков А.И., Петрова З.М. Лексические новообразования в русском языке XVIII века / АН СССР. Ин-т рус. яз. – Л. : Наука, 1975. – 364 с.

3. Описаніе заводскихъ зданій и устройствъ / при передачѣ ихъ отъ Кнауфа въ казен/ное управленіе // ОГАЧО. Ф. И-227, оп. I, д. 189.

4. Очерки исторической грамматики русского литературного языка XIX в. / под ред. В.В. Виноградова, Н.Ю. Шведовой. – М. : Наука, 1964. – 600 с.

5. Петрова З.М. Развитие лексического состава русского языка XVIII в. (Имена прилагательные): автореф. …д-ра филол. наук. – Л., 1985. – 40 с.

Боярская Ольга Владиславовна, кандидат филологических наук, научный сотрудник Челябинского государственного педагогического университета (ЧГПУ)

E-mail: boyarskayaov@yandex.ru

УДК 81'286

© *Ю.В. Биктимирова*

Становление падежной парадигмы единственного числа существительных женского рода по памятникам делопроизводства Восточного Забайкалья конца XVII – середины XVIII вв.

Статья посвящена особенностям употребления падежных форм единственного числа имен существительных женского рода в языке памятников деловой письменности Восточного Забайкалья конца XVII – середины XVIII вв. Анализ падежных форм единственного числа существительных женского рода в памятниках делопроизводства показывает становление падежной парадигмы единственного числа путем конкуренции равноправных, сосуществующих даже в рамках одного текста вариантов и дальнейшего утверждения какой-либо одной формы в качестве ведущей с закреплением в орфографии.

Ключевые слова: вариативность, падежные формы существительных, скорописные памятники делопроизводства.

Yu.V. Bictimirova

Formation of a paradigm of nouns of a masculine gender in a unique case on monuments of the cursive documents of East Transbaikalia in the end XVII – the middle of XVIII centuries

Article is devoted to the features of using case forms of singular nouns in feminine gender in the language of writing business monumenrs of East Transbaikalia in the end of XVII – the middle of XVIII centuries. The analysis of these nouns in cursive documents shows the formation of a case paradigm in singular form by the competition of variants equal in rights, coexisting even within the limits of one text of variants and further statement of any one form as the leader with fixing in spelling.

Keywords: variability, case forms of nouns, monuments of cursive documents.

Описание грамматических процессов XVII–XVIII вв., направленное на выявление законов формирования норм русского национального языка, на сегодняшний день в историческом языкознании является актуальным. Один из таких процессов – системная организация падежных форм на основе формирующихся современных типов склонения существительных. Этот процесс характеризуется унификацией (выстраивание парадигм разных склонений и падежных форм по аналогии) и вариативностью, что является яркой чертой узуса деловой письменности конца XVII–XVIII вв. Исторические изменения древнерусской системы склонения имен существительных, в результате которого некоторые формы разных склонений и родов полностью совпали, живая речь писцов, обращенность к нормам церковнославянских образцовых текстов – все это привело к появлению вариативности в категории падежа, отражаемой памятниками региональной деловой письменности XVII–XVIII вв. Настоящая статья исследует

особенности употребления падежных форм в парадигме единственного числа существительных женского рода из древнего склонения на ***-ā** в документах деловой письменности Восточного Забайкалья конца XVII – середины XVIII вв.

В отличие от существительных мужского и среднего рода существительные **женского рода** из древнего склонения на ***-ā** претерпели не такие значительные изменения в системе склонений. Об этом свидетельствует меньшее количество вариантов падежных форм и сохранение исконной парадигмы. В основном вариантность связана с соотношением твердого и мягкого вариантов ***-ā** и ***-jā** основ.

В **именительном падеже** у существительных женского рода из склонения на *-ā (*-jā) наблюдается флексия **-а (-я)**, которая не требует особых комментариев, по причине совпадения древнерусского языка и современного русского языка. Например: «*…потому что* вода *была бо*л*шая…*» [РГАДА. Ф. 214. Д. 270. Л. 15. 1681 г.]; «*…в Не*р*чи*н*скомъ пос*т*роена деревяная небо*л*шая* трапеза*…*» [РГАДА. Ф. 214. Д. 720. Л. 1. 1681 г.]; «*Копия с приговор*ѕ» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 21. 1753 г.].

В **родительном падеже** единственного числа существительные из основы на ***-ā (*-jā)** оформлялись старыми флексиями **-ы** и **-ѣ** и новыми – **-и** и **-е**. В основах, оканчивающихся на твердый, парный по твердости / мягкости, согласный, встречается флексия **-ы**, например: «*…взя*т *<…> прихо*д*ные книги <…> для* справы*…*» [РГАДА. Ф. 1142. ОП. 1. Д. 9. Л. 1. 1676 г.]; «*…и за болезнию до*л*жность казачья* головы *прави*т *по*д*линно не можетъ…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 41. 1753 г.].

Флексия **-и** встречается в исследуемых памятниках у существительных с основой на заднеязычный и непарный согласный, например: «*…не учинилось* остановки*…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 630 об. 1753 г.]; «*…евѡ* дѣ*в*ки *Оринки не по*д*говаривалъ…*» [РГАДА. Ф. 1142. Д. 98. Л. 33. 1701 г.]; «*…у л*ѣ*вои* руки *кости ц*ѣ*лы…*» [3; с. 29]; «*…всего с тысечи семисотъ семидесятъ девяти д*ѕ*шъ по пол*ѕ *бревн*ѕ *з* дѕ*ши…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 21. 1753 г.]. Приведенные примеры фиксируют выравнивание основ по модели мягкой основы.

Флексия **-ѣ** встречается, как и в древнерусской системе склонения существительных с основой на ***-jā**, после мягкого согласного, например: «*…по выписи кяхти*н*скои* ѳа*р*постовскои* таможнѣ*…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 90. 1752 г.]; «*…проти*в *горницѣ черная и*з*ба проти*в *гор'ницѣ j ссенями о*т *мѣсто выборного соцкого Ефима Иванова*» [РГАДА. Ф. 1142. Д. 26. Л. 50. 1683 г.].

Отмечаются факты влияния форм твердой разновидности на мягкую, где в родительном падеже встречается флексия **-и**. «*…желаю я* ѣ*хать из Не*р*чинска до Кита*и*ско*и *границы до Кяхтинскои* ѳа*р*постовско*и* таможни…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д .64. Л. 91. 1752 г.]; «*…а до земли се' дѣла*

нѣть потомy что ѡ челобитчик с то' земли великомѵ Грю службу служить…» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 5. Л. 117 об. 1707 г.].

Употребление же флексии **-ѣ** после твердого согласного, по мнению исследователей истории языка, могло быть результатом «обобщения формы мягкой разновидности, где **-ѣ** было исконно, или в результате воздействия форм дательного и предложного падежей единственного числа на **-ѣ** (*къ сестрѣ, на сестрѣ*)» [1; с. 55]. Примеры образования омонимии форм единственного числа родительного, дательного и предложного падежей фиксируют исследуемые памятники: «*…из приказной избѣ пол ѵченъ июня 12 дня 1752 году…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 174. 1752 г.]; «*К сеи росписе вместо Тихона Бѵянова ево прозъбѣ Посацкои Іванъ Старицынъ рѵкѵ приложилъ*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 91. 1752 г.].

Исследователь форм словоизменения существительных в русском приказном языке XVII в. Н.Д. Ахведиани, ссылаясь на многочисленные наблюдения историков языка и диалектологов, отмечает, что формы родительного падежа единственного числа на **-ѣ** в языке московской деловой письменности, как и в языке документов северорусского и южнорусского происхождения крайне незначительны [1, с. 59]. Исследуемые памятники Восточного Забайкалья также фиксируют немногочисленность этих форм.

Дательный падеж у существительных женского рода древнерусской системы склонения на ***-ā** оформляется с помощью флексии **-ѣ** (графическое **-е** или **-ѣ**), из склонения на ***-jā – -и** (графическое **-и** или **-і**), например: «*…для пришѣму <…> хлѣбны запасов і всяко гсдрвѣ казнѣ…*» [РГАДА. Ф. 1142. Оп. 1. Д. 9. Л. 2. 1676 г.]; «*…по клятвенному обѣщанию привесть к присягѣ и по приводе к тои присягѣ здѣшную канцелярию ѵведомит писмянно…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 48. 1753 г.] – «*…а попривое к присяге написать ихъ в окладные имянные книги…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 42. 1753 г.]; «*…і велѣть емѵ явитса х командѣ в непродолжительномъ времени…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 20. 1756 г.]; «*…вышеписанных онымъ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО величества Указомъ аргунскоі приказноі избѣ публиковано*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 176. 1753 г.]; «*…а по справкѣ в нерчинскоі воеводскои канцелярііі по присланному Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ѵказѵ изправителствѵющаго сената ноября от 30 числа 1751 годѵ велено…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д .64. Л. 215. 1753 г.]; «*…потребные к машинноі трубѣ…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 575. 1753 г.]; «*…а за моеи грамотѣ заручно повер…*» [РГАДА. Ф. 1142. Оп. 1. Д. 15. Л. 3. 1679-1681 гг.]; «*…Васка стакався с ним Степаномъ <…> и по стачке держалъ ево в колоде…*» [РГАДА. Ф. 1142. Д. 98. Л. 33. 1701 г.]; «*…а по поописке на тос выписи селенгинскои таможни…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 90. 1752 г.]; «*…объявлено марта де 15 дня По Ея Императорскаго величества указѵ і По определению началства на Промемориюк нерчинской воеводской канцелярііі…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64.

Л. 630. 1753 г.]; «*...по ннешне' ревизіи...*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 22 об. 1753 г.].

Примеров, подтверждающих употреблении флексии ***-и*** у существительных женского рода дательного падежа с твердым согласным на конце основы, в исследуемых деловых текстах не наблюдается.

Винительный падеж оформляется флексией ***-у*** (***-ю***) (графическое ***-у***, ***-ю***, ***-ѹ***), например: «*...бабу ѹ'ни^х отбилъ...*» [РГАДА. Ф. 1142. Оп. 1. Д. 78. Л. 9. 1699 г.]; «*...потребны на крыш ѹ' оного города...*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64, Л. 26, 1753]; «*...На твою великого Г^оря служ'бу поднятца нечем...*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 5. Л. 70. 1707 г.]; «*...на ка^жс д ѹ'ю дш ѹ'...*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 21. 1753 г.]; «*...вм ѣсто Га^врила Новокрещена по ев ѡ вел ѣнию леонте' ф ѣтис^ов р ѹ'к ѹ' приложи^л*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 5. Л. 70. 1707 г.]; «*...и та ^ое дикая земля и сенные покосы в дачю никому нео^тдана...*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 137. Л. 225. 1689 г.]; «*...Приеха^в к ко^нному казаку А ѧанасию К ѹ'лакову на заи'мку всякое дворовое строеніе и мелниц ѹ' и паше^ную землю <...> ѡсматривали и описали...*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 5. Л. 268, 1707 г.]

Творительный падеж существительных единственного числа женского рода склонения на ****-ā (*-jā)*** оформляется с помощью флексии ***-ою*** (графическое ***-ою*** и ***-ею***), что зафиксировано в памятниках Восточного Забайкалья рубежа XVII – XVIII вв., например: «*...собственного Ея jмператорскаг ѡ величества р ѹ'кою резолюція по^писана...*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 578. 1753 г.]; «*...восе^мдеся^т деветъ бревенъ с половиною...*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 24. 1726-1753 гг.]; «*...записавъ <...> настоящ ѹ'ю расхо^дн ѹ'ю книг ѹ' с роспискою...*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 215 об. 1753 г.]; «*...потребно приторгова^т в торг ѹ' самою на^стоящую ц ѣною...*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 215. 1753 г.]; «*...и ^з дворовою о^тца ншего д ѣвкою му^нга^лско' породы о^н Миха'л ѡ подозва^в к себ ѣ взялъ безд ѣлу и бестисма <...> о^н Миха'ло нас рабо^в твои^х ограбилъ и разорилъ насъ безоста^тку в конецъ да о^н же Миха'л ѡ Батуринъ умысля з бабушкою нашею...*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 5. Л. 1707 г.]; «*...при^слан мы холопи твои к теб ѣ великом ѹ' Г^сдрю к Мо^скв ѣ ссоболиною ка^зною...*» [РГАДА. Ф. 214. Д. 1282. Л. 54. 1703 г.]; «*...а которые не причащаютс ѧ бе^з запрещени ѧ о^тца дховнаго волею о^т такихъ сыскивать...*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 578. 1753 г.].

Несмотря на отсутствие вариативности флексий в творительном падеже, что связано с морфологическим обобщением «флексии твердой разновидности, а не о фонетическом переходе е > о» [1, с. 66], в исследуемых памятниках делопроизводства Восточного Забайкалья встретился единичный вариант флексии ***-ѣю***: «*И пона^слѣдию которою пашенною земл ѣю и с ѣнными покосы влад ѣ^л <...> и тою земл ѣю и сенными покосы <...> владетъ...*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 5. Л. 117. 1707 г.]. Этот случай можно от-

нести к фонетическому неразличению забайкальскими писцами XVII – XVIII вв. гласных [е] и [ё], возможно, в связи с этим древнерусская флексия творительного падежа единственного числа ***-ею*** графически передается ими как ***-ѣю***.

В исследуемых текстах зафиксировано несколько примеров существительных женского рода в творительном падеже с флексией ***-ой*** (***-ей***), отражающих редукцию конечной гласной до нуля звука, что говорит об ориентации писцов нерчинских острогов на книжно-письменную традицию и строгое соблюдение этих норм до середины XVIII в.: «*…и побѣжали де онѣ <…> пере^{о} утрянои зоре^{и}…*» [РГАДА. Ф. 1142. Д. 78. Л. 7. 1699 г.]; «*…лукошечок <…> с олиѳоои…*» [РГАДА. Ф. 214. Кн. 473. Л. 276. 1702 г.].

В **местном падеже** в исследуемых документах зафиксированы формы со старой флексией ***-ѣ*** и новой ***-е*** у основ на твердый согласный, а также формы ***с*** флексией ***-и*** (графическое ***-и***, ***-і***) у основ на мягкий согласный. Например: «*…и в постав^{в}кѣ того лесѲ квитанецъ о^{т} прие^{м}щика Фалѣлѣева у себя нѣ имѣютъ…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 26 об. 1753 г.]; «*…а в острожно^{и} стенѣ двѣ и^{з}бы…*» [РГАДА. Ф. 1142. Оп. 1. Д. 26. Л. 49. 1683 г.]; «…пове^{л} <…> по че^{р}но^{и} рекѣ вверхъ…» [РГАДА. Ф. 214. Д. 22. Л. 56. 1681 г.]; «*…в съѣзжеи и^{з}бѣ би^{л} чело^{м}…*» [РГАДА. Ф. 1142. Д. 8. Л. 5. 1675 г.]; «*…то^{р}говые статьи пере^{п}летены в че^{р}но^{и} коже…*» [РГАДА. Ф. 214. Кн. 473. Л. 275. 1702 г.]; «*…держалъ ево в колоде…*» [РГАДА. Ф. 1142. Д. 98. Л. 33. 1701 г.].

Основы на мягкий согласный встречаются с флексией ***-ѣ*** (***-е***), что свидетельствует о выравнивании форм склонения на мягкий согласный по аналогии с формами, основы которых оканчиваются на твердый согласный, например: «*…в ночи на у^{т}рянно^{и} зорѣ…*» [РГАДА. Ф. 1142. Д. 78. Л. 1. 1699 г.]; «*…хлѣба десяти^{н} с пять на о^{т}во^{о}но’ наше’ землѣ вел^{п} выжа^{т}…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 5. Л. 116. 1707 г.]; «*…о то^{и} хлѣбно^{и} ро^{з}дач^{е}…*» [РГАДА. Ф. 1142. Оп. 1. Д. 9. Л. 2. 1676 г.]; «*…а при пе^{р}вои выдаче имъ Епифанцовѳ с товарищи дене^{ж}ного жалования вычесть ѳ ни^{х}…*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 42 об. 1753 г.]; «*…копия о даче погоревши^{м} московско^{и} тве^{р}ско^{и} я^{м}скои слободы я^{м}щика^{м} …*» [ГАЗК. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64. Л. 44. 1726-1753 гг.].

Флексию ***-и*** после согласного обнаруживаем в одном случае: «*…на усть Торги речки стоят юртою…*» [РГАДА. Ф. 214. Д. 23. Л. 61. 1684 г.]. Возможно, это отражение в памятнике диалектной черты севернорусского происхождения – совпадение форм родительного, дательного и местного падежей по форме родительного падежа, наблюдающейся в речи писца, которая в современной диалектной речи забайкальцев встречается спорадически. Так, исследователем диалектов Забайкалья Т.Ю. Игнатович зафиксировано это явление в говоре села Митрофаново Шилкинского района Забайкальского края, этот процесс унификации отмечен и у существитель-

ных с основой на задненёбный согласный (Д.п. *к ноги*, П.п. *на реки*) [2; с. 45].

Анализ форм существительных единственного числа женского рода склонения на *-ā (*-jā) выявил следующие факты: сохранение архаичных книжных форм и присутствие единичных случаев употребления оригинальных флексий, которые можно отнести к диалектным особенностям живой речи или опискам писцов.

Литература

1. Ахведиани Н.Д. Нормы словоизменения имен существительных в русском приказном языке XVII века: дис. ... канд. филол. наук. – М., 1984. 185 с.
2. Игнатович Т.Ю. Актуальные проблемы исторической и современной русистики // Язык и культура: мосты между Европой и Азией (15-18 сентября 2009 г.): материалы Междунар. лингвокультурол. форума / под ред. В.Т. Садченко. – Хабаровск: Изд-во Дальневосточ. гос. гуманит. ун-та, 2010. – С. 39-51.
3. Христосенко Г.А. Нерчинская деловая письменность XVII–XVIII вв.: учеб. пособие. – Чита: Изд-во ЧГПИ, 1994. – 86 с.

Сокращения

РГАДА – Государственный архив Древних актов (г. Москва).

ГАЗК – Государственный архив Забайкальского края (г. Чита).

Биктимирова Юлия Викторовна, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им Н.Г. Чернышевского (ЗабГГПУ).

E-mail: pravo_chita@mail.ru

УДК 81’42 (09)

© *А.П. Майоров*

Взаимодействие нормы и регионального узуса в историческом аспекте

В статье рассматривается вопрос об исторической динамике взаимодействия нормы и узуса регионального варианта национального языка. На материале забайкальской деловой письменности XVIII в. феномен нормы и узуса прослеживается по функционированию единиц таких языковых уровней, как фонетика (явления безударного вокализма и консонантизма) и лексика (синонимические ряды, абсолютные синонимы). На раннем этапе становления единых норм национального языка, в 1-й половине XVIII в., региональный узус преобладал над нормой литературного языка, во 2-й половине – норма литературного языка упрочивает позиции во всех сферах своего функционирования.

Ключевые слова: норма, узус, регионект, забайкальская деловая письменность XVIII века.

A.P. Mayorov

Historical aspect of interaction between norm and usus

In issue the problem of historical dynamics of interaction between norm and usus for regional variant of national language is investigated. Phenomenon of norm and usus, based on transbaikalean business documentation within such linguistic levels as phonetics (facts of unstressed vocalism and consonantism) and lexics (synonymous ranges, utter synonyms), is regarded. At early stage of formation national language's united norms, in the 1-st half of century, regional usus was predominating upon the literary norm. At the 2-nd half XVIII century literary norm strengthens its positions in all spheres of it using.

Keywords: norm, usus, regiolect, Transbaikalian business documentation of XVIII c.

Как известно, соотношение нормы и узуса колеблется в зависимости от наличия в языковой ситуации и взаимоотношения друг с другом разных языковых идиомов в разные исторические периоды их существования. Наблюдающаяся в начальный период становления литературных норм более тесная связь идиомов с определенным узусом в дальнейшем обычно ослабевает. Конфликт узуса и нормы, давление речевого обычая на нормативные предписания разрешаются, как правило, в пользу традиционно сложившихся предписаний по закону социального престижа, принятого в данном обществе и в данную эпоху.

XVIII век в истории русского литературного языка предстает как переломный: в этот период идет активный процесс синтеза двух ранее обособленных языковых стихий – народно-разговорной и книжно-литературной, взаимоотношения которых на протяжении предшествующих семи столетий характеризуются учеными как ситуация диглоссии. Новая языковая ситуация таким образом должна в корне менять соотношение нормы и узуса формирующегося национального языка. С одной стороны, идея реформирования литературного языка активно разрабатывается в течение всего столетия представителями определенных культурных слоев российского общества: в сочинениях В.К.Тредиаковского, В.Адодурова, М.В. Ломоносова, Н.М.Карамзина и других происходит отбор активных, доказавших в речевой практике свою жизнеспособность книжно-славянских средств. С другой стороны, узус живой разговорной речи, его норма в широком смысле слова развиваются стихийно, в результате интенсивного взаимодействия народных говоров и городского просторечия, профессиональных жаргонов и различных социальных диалектов. При этом региональное варьирование разговорного узуса на всем языковом пространстве Российской империи представляется значительным.

Если отталкиваться от представления о норме, сформулированного Э. Косериу как «реализованной возможности системы» (т.е. такой, когда норма соответствует не тому, что «можно сказать», а тому, что уже сказано

и что по традиции «говорится») [1, с. 175], то следует констатировать, что с этой точки зрения норма национального языка в забайкальском регионе XVIII в. еще практически не сформировалась. Открытые возможности систем материнских говоров и литературного языка в нем реализуются беспрепятственно, не ограничиваются теми или иными нормативными установками, исходящими как от столичных реформаторов, так и от культурных людей провинции, способных оказать влияние на установление новых норм в данном регионе. В этом отношении деловой язык, а точнее – канцелярский слог, являлся главным вектором, определяющим направление развития единых норм литературного языка, который функционировал в данном регионе.

При исследовании регионального узуса забайкальской деловой письменности XVIII в. приходится иметь дело с разноречивыми фактами. С одной стороны, прослеживается формирование определенных норм функционирования книжных средств канцелярского слога; нормализация эта планомерно осуществлялась с начала петровской эпохи в рамках официально-деловой коммуникации с ориентацией на язык и стиль исходящих из центра распорядительных документов и закончилась к концу XVIII в. С другой стороны, наблюдается свободное от каких-либо регламентаций употребление разговорных средств разного рода – просторечных, диалектных, профессионализмов и регионализмов иноязычного происхождения. Иначе говоря, узус региолекта являлся самодостаточным и, сталкиваясь с действием книжной нормы, преобладал над ней. В то же время такое соотношение нормы и узуса не является неизменным на протяжении всего столетия.

В языковой ситуации России 1-й половины XVIII в. при сохранении противостояния нормы книжного регистра узусу деловой письменности, отражавшему явления разговорной речи, следует констатировать начавшуюся тенденцию синтеза книжных и некнижных средств, а точнее вторжение нормы литературного языка в сферу узуса деловой письменности. Складывается поэтапная, ступенчатая экспансия распространения книжной нормы в деловом языке, которая заканчивается во 2-й половине столетия. Прежде всего на раннем этапе указанное противостояние нормы книжного и некнижного регистров проявляется в относительно разном языковом оформлении распорядительных документов, с одной стороны, и просительных документов, с другой. Для первых характерно преимущественное использование книжно-славянских слов как стилеобразующих средств официально-делового слога, для вторых – разговорной лексики, средств приказного стиля.

Впоследствии во 2-й пол. XVIII в. происходит не вытеснение самого приказного языка, а прекращение той стилистической традиции, которая была тесно связана с жанрами деловой письменности допетровской эпохи – в частности, с выходом из делопроизводственного обихода отписок, памятей, некоторых разновидностей челобитных, сказок «свидетельских по-

казаний» и др. Вместе с ними подвергаются забвению и типичные приказные формы. Главными стилеобразующими средствами делового письма становятся книжные элементы в основном церковнославянского происхождения. Поскольку книжные средства в качестве нормированных получают распространение во всех жанрах деловой письменности, деловой язык конца XVIII в. становится функциональным стилем литературного языка. Характерно то. что даже в просительных документах нередким становится книжный стиль изложения. Приведем пример из доношения, который по своей стилистике составляет разительный контраст с документами подобного жанра 1-й пол. XVIII в.: … *ибо онъ г[осподи]нъ Степановъ <…> всегда старается | делать ко мне разныя прицепки а по нимъ и натяжки накло|нителныя к возобновлению вкоренившихся в немъ для меня недобро|желателствъ равно к умножению приказныхъ ссоръ каковыхъ | от него произошло же немало и наконецъ я уповаю едва ли та|ковыя в немъ для меня горящия недоброжелателством предприятия | и погаснутъ ибо и цель ево состоитъ толко в томъ какъ бы оныя | со время на время умножить* [НАРБ, ф. 11, 1795].

Разные уровни языковой системы по-своему реагируют на взаимодействие нормы и узуса. Например, произносительная норма забайкальского региолекта XVIII в. под давлением разговорного узуса испытывала изменения в течение всего столетия. В 1-й пол. XVIII в. в относительно монодиалектном вторичном говоре Забайкалья господствовало оканье (подробно вопрос об отражении оканья в забайкальских письменных памятниках XVIII в. раскрыт в [2, с. 101-125]). Рассматривая оканье регионального узуса Забайкалья в свете общероссийской языковой ситуации, следует подчеркнуть его противопоставленность аканью как формирующейся в столице орфоэпической норме литературного языка. Во 2-й половине столетия наряду с оканьем в забайкальском региолекте сосуществует акающая система. Примечательны в этом отношении факты написания заимствованных в рассматриваемую эпоху иноязычных слов, которые, находясь в процессе адаптации, отражают акающее произношение как норму литературного языка: *афицеры, канвой, кантора, правиант* и др. Регулярные написания в памятниках забайкальской письменности свидетельствуют не только об установившейся орфографической традиции записи этих слов на основе фонетического принципа в данную эпоху, но и уже о предпочтении акающего произношения.

Произношение безударных гласных после мягких согласных в забайкальском региолекте также отличалось особенностями, противопоставлявшими его произносительной норме литературного языка. Для забайкальского регионального узуса было характерно еканье, пришедшее с северно-русскими говорами русских первопроходцев. В отличие от столичной языковой ситуации в произносительной системе забайкальского региолекта не могло быть той социолингвистической дифференциации, которая просле-

живается между икающим и екающим произношением в Москве: еканье как произносительная норма национального языка, в условиях кодификации становящаяся престижной, противопоставлено иканью как норме просторечия, отвергаемой кодификаторами и высмеиваемой в комедиях русских классицистов. [3, с. 303-398]. Узуальное функционирование еканья в забайкальском региолекте 1-й пол. XVIII в., как и оканье, полновластно. Во 2-й пол. XVIII в. в речи появляется иканье, спорадически отражаемое в исследуемых памятниках, и эта вариативность в произношении уже служит основанием для последующего разграничения и оценки данных фонетических явлений по шкале «норма – узус».

Фонетическую систему вторичного говора Забайкалья, формировавшегося в XVIII в., характеризует ряд черт северновеликорусского происхождения: неразличение глухих и звонких согласных (в позиции перед гласными и сонорными), что отражается в достаточно регулярном смешении букв, обозначающих эти согласные: *породавка, заводижъ* вместо *заводишь, зимофье, хлепопашество, полты, береборной* вместо *переборной* и др.; нейтрализация твердых и мягких согласных (в тех же позициях): *промиселъ, пошлына, взато* вместо *взято, махкой* вместо *мяхкой, одня* вместо *одна* и др.; твердое произношение [шш']: *обшаго, клешы, вещы*; утрата интервокального *j* с последующим стяжением гласных в падежных формах имен прилагательных: *права и лева рука, Нижну Кудару, в Архангелску слободу*; явление назализации [б] перед носовыми согласными (*омманство*), употребление [с'] на месте [с'т']: *клась, гресь* вместо *грести*. Перечисленные фонетические явления ввиду их широкого распространения в письменных памятниках следует рассматривать как узуальные, свойственные забайкальскому региолекту XVIII в. В дальнейшем, с упрочением произносительных норм литературного языка, большинство указанных особенностей консонантной системы забайкальского региолекта остаются только в сфере функционирования старожильческих говоров Забайкалья, т.е. становятся диалектными.

Другой языковой уровень, ярко характеризующий взаимодействие нормы и узуса, – лексическая подсистема. Изучаемый период в истории русского языка отличается динамикой лексических норм, и прежде всего это касается разговорной лексики.

Разговорная лексика регионального узуса в отличие от литературного языка в изучаемый период составляла преобладающую и основную часть словарного состава. Это имело свои последствия. Функционально-стилистическая дифференциация лексики в региональном узусе в этот период носила особый характер. Если книжные (книжно-славянские) элементы были явно маркированы как стилистические средства делового письма или литературной речи, то (в рамках этой привативной оппозиции) разговорные слова являлись стилистически немаркированными. Это означало, что любые разговорные элементы – с точки зрения носителей литературно-

го языка того времени просторечные, простонародные, областные – могли использоваться в региональных документах любого жанра. В то же время прослеживается тенденция нормативной оценки разговорных слов во 2-й половине XVIII в. и ограничения их использования в документах официально-делового характера [4, с. 217].

Динамика лексических норм проходит всегда живее, активнее, поскольку словарный состав любого языка является открытой лексико-семантической системой и влияние внеязыковых, прагматических факторов на изменение лексикона, системных связей лексических единиц, на их семантику всегда оказывается достаточно ощутимым.

В региональном варианте национального языка все процессы, связанные с динамикой лексических норм, протекают резче, острее. Столкновение нормы и узуса может усугубляться междиалектными, а при функционировании русского языка в иноязычном окружении – межъязыковыми контактами. В таком генетически разнородном идиоме, который впитывает в себя следы междиалектных и межъязыковых контактов, взаимодействие нормы и узуса на лексическом уровне проявляется в активном варьировании лексических средств: так, для забайкальского регионолекта XVIII в. было характерно функционирование абсолютных лексических синонимов (*годовик – селеток*, *городьба – остожье*, *князёк* ‘гребень крыши’ – *охлупень*, *зреветь – огаркать – вскрычать, захватить – излучить, клепать – нарекать – облыгать – взнести, наука* ‘подговор’ – *подвод – посяжка* и мн. др.). Сущность абсолютной синонимии у подобных слов очень хорошо выявляется в разного рода вторичных, параллельных текстах забайкальской деловой письменности XVIII в. Как правило, в текстах просительных, распорядительных, отчетно-исполнительных документов, допросных речей в составе комплекса судопроизводственных документов (например, в следственном деле) прослеживается дублирование одной и той же информации, и при этом номинация одних и тех же реалий – предметов, их свойств, признаков, каких-либо явлений, событий и т.п., их характеристика может варьироваться: Та Резничиха ушла во оную <*избу*> и вышедъ на крылцо згаркала ее Акилину <*Из объявления – просительного документа 2-й пол. XVIII в.*> – И немного помедля Резничиха с крылца скликала ее Акилину <*Из другого документа этого же следственного дела*> (НАРБ, ф. 20, 1793); Паламошной бросилъ въ ево неболшей тычинкой в спину то Гашевъ оборотясь ево толкнулъ <*Из показаний свидетеля в допросных речах*> – Гашевъ от него Паломошнова отошелъ, и Паламошной бросилъ в него маленкой палочкой <*Из показаний другого свидетеля в тех же допросных речах*> (НАРБ, ф. 20, 1794); А Рогачевъ сказывалъ намъ дорогою что кису козлову з бритвами <*оставил*> <*Из показаний обвиняемого в допросных речах*> (ГАИО, ф. 783, 1785) – И дорогою сказывалъ Рогачевъ что оставилъ над той дырой калаусъ з бритвой <*Из показаний другого обвиняемого в тех*

же допросных речах> (ПЗДП, 91, 1785). Очевидно, что в узусе при обозначении одних и тех же денотатов одинаково употребительны слова *зграккать* и *скликать*, *тычинка* и *палочка*, *киса* и *калаус*. Конкуренция данных абсолютных синонимов и других вариативных лексических средств, безусловно, играла определенную роль в процессе становления лексической нормы. Примечателен тот факт, что во 2-й пол. XVIII в. языковая рефлексия образованных людей – писцов, канцеляристов, секретарей – заставляет редактировать тексты документов, и правка, проявляющаяся в замене одних слов на другие, может свидетельствовать об ориентации чиновников на складывающуюся норму употребления того или иного слова.

Таким образом, формирование национального языка как системы функциональных стилей происходит в XVIII в. в разных регионах России своеобразно. При общей тенденции распространения единых норм литературного языка, формировавшегося за счет средств книжно-славянского идиома, узус разговорной речи в разных регионах страны варьировался в зависимости от лежащей в ее основе совокупности средств народных говоров, городского просторечия, социальных диалектов.

Литература

1. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. – Вып. III. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1963.

2. Майоров А. П. Правописание гласных и отражение явлений безударного вокализма в региональной деловой письменности XVIII в. // Русский язык в научном освещении. – М.: Языки славянской культуры, 2006. – №1(11). – С.101-125.

3. Панов М. В. История русского литературного произношения XVIII-XX вв. – М.: Наука, 1990. – 440 с.

4. Майоров А. П. Очерки лексики региональной деловой письменности XVIII в. (по памятникам Забайкалья). – М.: Азбуковник, 2006. – 264 с.

Сокращения

ГАИО – Государственный архив Иркутской области

НАРБ – Национальный архив Ресупублики Бурятия

ПЗДП – Памятники забайкальской деловой письменности XVIII в. / под ред. А.П. Майорова; сост. А. П. Майоров, С. В. Русанова. Улан-Удэ, 2005.

ф. – фонд

Майоров Александр Петрович, доктор филологических наук, доцент кафедры общего и исторического языкознания Бурятского государственного университета.

E-mail: map1955@mail.ru

УДК 81'42

© *М.В. Овчинникова*

Наименование преступников в деловом узусе Забайкалья XVIII века

Статья посвящена закономерностям становления терминологии уголовного права XVIII в., истории формирования терминологической сферы «наименование преступников, совершающих имущественные преступления»

Ключевые слова: деловые тексты Забайкалья XVIII в., правовая терминология, наименования преступников.

M.V. Ovchinnikova

The denomination of offenders in business usus of Transbaikalia of XVIII century

The article is devoted to the regularities of formation criminal laws terminology of XVIII century, to the history of forming terminological sphere "the denomination of offenders committing property crimes".

Keywords: Transbaikalian business texts of XVIII c., legal terminology, offenders' denomination.

Тематическая группа наименований преступников включает единицы, соответствующие понятиям о государственных преступниках и лицах, совершающих уголовные преступления (*убийцы*), покушающихся на частную собственность (*воры*, *грабители*), нарушающих нравственно-этические нормы [1, с. 70]. На протяжении многих веков юридическая терминология данной сферы подвергалась изменению, пополнялась новообразованиями, изменяла свой состав. Так, в Соборном Уложении 1649 г. для номинации преступных лиц используются термины *тать*, *разбойник*, *убойца*, *душегубец*, *вор*, *мошенник*, *лихой человек*. В XVIII в. тематическая группа наименований преступников насчитывает значительное количество общенациональных официальных обозначений, которые в региональных узусах конкурируют с региональными терминами. В условиях языковой ситуации XVIII в. данная терминосистема претерпевает кардинальные изменения, связанные с отказом от многих приказных терминов и с их переосмыслением, с пополнением новыми специальными обозначениями, имеющими, как правило, церковнославянские истоки.

Для номинации преступников в деловых текстах Забайкалья XVIII в. используются термины *вор*, *воровские люди*, *грабитель*, *разбойник*, *похититель*, *злодей*, *тать*, *зломыслитель*, *преступник*, *преступитель*, *смертноубивец*, *смертноубийца*, *убийца*, *убивец*. Это термины, которые появились на разных этапах формирования правовой терминологии: термины, известные средневековому праву (*разбойник*, *тать*, *убийца*, *убивец*), при-

казные термины (*вор*, *воровские люди*), термины, имеющие церковнославянское происхождение и изменившие семантику в новой культурно-языковой ситуации (*преступник*, *преступитель*, *грабитель*, *похититель*, *злодей*, *зломыслитель*), терминологические наименования, образованные по словообразовательным моделям церковнославянского языка (*смертноубивец*, *смерноубийца*).

В рамках данной статьи рассмотриваются термины, которые обозначают преступников, совершающих имущественные преступления.

Книжный термин *похититель* не был известен языку деловой письменности до XVIII в., поскольку только в XVIII веке были созданы предпосылки для обогащения терминологии за счет средств книжного языка.

В забайкальской письменности термин *похититель* характеризуется значением ‘похититель, вор, грабитель’ и является синонимичным по отношению к термину *вор*. Например: «*…в утрате* ***похитителемъ*** */ Кропивинымъ сорокъ одинъ рубль сорокъ одна копеика*» (Указ – НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 5985, л. 6 об.; 1788); «*… покорнеи/ше прошу об отыскиваньи имению моему* ***похити/телеи***» (Объявление – НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 3026, л. 4; 1797).

Основным обозначением похитителя в деловом узусе Забайкалья XVIII в. является термин *вор*, известный разным жанрам деловой письменности. Например: «*… о покра/же у него из дому неведомыми* ***ворами*** *пожитковъ*» (Промемория – НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 106, л. 201; 1773); «*…в покраже у нее от дому неве/домыми* ***ворами*** *коровы…*» (Сообщение – НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 130, л. 8 об.; 1774); «*… неизвестными* ***ворами*** *съестных / и протчих припасов покража*» (Известие – НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 130, л. 71; 1774).

Особенностью синтагматики термина *вор* является его сочетание с прилагательными *неведомый*, *неизвестный*. Большинство проанализированных документов содержат именно такое сочетание, реже используется термин *вор* без определения.

Наряду с субстантивом *вор* для номинации похитителя, грабителя используется терминологизированное словосочетание *воровские люди*. Данные варианты не отличаются друг от друга по семантике и сфере функционирования. Например: «*Того ради Ваше высокопреподобие покорно / прошу сие мое доношение принять и записат / в книгу а во увозе старостою Дубининымъ и в покра/денныхъ моихъ книгъ и протчаго представит / куда надлежитъ по коменде ибо признавателно / можетъ онъ Дубининъ* ***воровских людеи*** *и подводилъ*» [2, с. 82]. При этом в единичных контекстах встречается слово *вор* в гиперонимичном значении ‘преступник’, архаичном для XVIII в. Например: «*… такие беглые / драгуны, салдаты, матрозы и прочие* ***воры****, пристаютъ по монастырямъ, пустынямъ*» (Указ – НАРБ, ф. 262, оп. 1, д. 81, л. 5; 1757).

Для номинации человека, нарушающего таможенные предписания, в деловой письменности Забайкалья используется термин *вор* с конкретизирующим прилагательным *пограничный*. Очевидно, что в подобных контекстах также реализуется устаревшее значение слова *вор* ‘преступник’: «*… называл того ламу / **пограничным воромъ**, бутто онои лама былъ с нимъ / на границе для торгу*» (Сообщение – НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 1271, л. 2-2 об.; 1788).

Лексема *вор* употребляется и в нетерминологическом значении для обозначения плута, хитреца, обманщика, что также является проявлением старого гиперонимичного значения. Например: «*Да он же Тиунцов всяческими непотребными словами / бранил и ругал и порицал меня раба вашего и называл / **воромъ** и плутом и мошенником и женским сводником*» [2, с. 85]; «*… бранилъ онои Лоншаков меня раба вашего всякою неподобною / скаредною матерною бранью да при том же называл / и **воромъ***» [2, с. 88].

Впервые русское слово *вор* фиксируется в XVI в. в значении ‘мошенник’, ‘авантюрист’, ‘обманщик’, ‘изменник’. П.Я. Черных, М. Фасмер связывают происхождение данного слова с глаголом *вру*, *врать*. Например: *проворный*, *воровой* ‘удалой’, ‘бойкий’ (олонецк.) [3, с. 350]. В других славянских языках данное слово отсутствует, а в значении ‘грабитель’, ‘злоумышленник, занимающийся кражей’, используются лексемы: *злодій* (укр.), *злодзей* (блр.), *крадец* (болг.), *zloděj* (чеш.) и т.д. [4, с. 165].

П.Я. Черных указывает на то, что ранняя дата фиксации нового обозначения относится к 1547 г.: «*То, государь, мужикъ Власко **ворь** и рукы подписываетъ; а осенесь, государь, тотъ Власко въ подписке былъ не поиманъ*». АЮБ I, 195. 1547 [5, с. 28].

В приказном языке перечисленные значения у слова *вор* сохраняются. На протяжении всего XVII в. слово *вор* являлось прежде всего гиперонимичным обозначением лица, которое совершает преступление. Но уже в начале XVII в. слово *вор* известно в смысле ‘тать, грабитель’ и выступает в качестве синонима по отношению к древнему термину *тать*. Слово *вор* в новом терминологизированном значении отражено в Соборном Уложении 1649 г. Например: «*Будутъ такие **воры** приехавъ пограбятъ, а смертнаго убийства не учинятъ*». Ул. 18 [5, с. 28].

В литературном языке XVIII в. слово *вор* является многозначным, одно из его значений ‘плут, мошенник’ характеризуется употреблением в разговорной речи: «*Что ты про монастыри пишеш, сех, **вор**, еще ты ся не откинул ходить*». Маниф. [6, с. 68]. Отмечаются у данного слова исконные значения: ‘нарушитель закона, преступник’, ‘разбойник’, ‘изменник’, ‘мошенник’: «***Вор**... у нас весьма разное значит, в пространном разумеется изменник, бунтовщик, и разбойник, в кратком же тать*». ЛТ I 280 [6, с. 68]; «*Разбой, когда **воры** силным нападением и угрожением смерти, отнимают скот, и имения путников*». Уч. отр. 20 [6, с. 68]; «***Вор** и бунтовщик Кондрашка Булавин*». ПБП VIII 420; «*Вот так-то у меня в деревне*

был прикащик, ... Мне щоты чистые он к справке приносил, Да раз с доходами росход не согласил, А я и подцепил в росходе прибавленье, Да ***вора*** *и послал в Сибирь на поселенье*». Хрс. Ненав. (РФ) 99 [6, с. 68]. «Словарем русского языка XVIII века» фиксируется также значение ‘тот, кто крадет, похититель’: «*Приведен в Севску в Приказ в татьбе лавочный* ***вор***». СД 12 [6, с. 68].

Для первой половины столетия была характерна роль термина *вор* в качестве родового наименования преступника, при этом можно было говорить о синонимии терминов *злодей* и *вор*. Например: «*А ныне* ***злодеи*** *наши Фетка Шакловитой съ товарыщи, не удоволяся милостию нашею, преступя обещания свое, умышляясь с иными* ***ворами*** *о убивстве над нашимъ и матери нашей здоровиемъ…*». ПБП, т. I, 13 [7, с. 174]. Во второй половине XVIII в. отношения между терминами *вор* и *злодей* изменились. *Вор* вытесняется в область видовых понятий и используется в законодательных документах в том значении, которое свойственно было термину *тать*.

Употребления термина *тать* в XVIII в. редкостны, он встречается в цитатах из Соборного Уложения 1649 г., в устойчивых оборотах. В литературном языке XVIII в. данное слово воспринимается как церковнославянское и является устаревшим. В анализируемых документах забайкальской деловой письменности также не используется устаревшее слово *тать* для обозначения крадущего. Оно сохраняется лишь в цитатах из Соборного Уложения 1649 г. Например: «… *и того /* ***татя*** *пытать и в ыных татьбах…*» (НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 813, л. 29; 1787).

Процесс сужения значения термина *вор* был связан со стремлением любого термина к однозначности, именно вследствие тенденции к детализации понятия произошли изменения в семантике данного слова.

Близким по значению термину *вор* является слово *грабитель*, которое используется в деловых документах для номинации преступника, совершившего грабеж, кражу. Например: «… *покорно прошу сие мое обявление до изыскания тех злодеев / и* ***грабителеи*** *записать: а при томъ и повелено б было к тому / изысканию тех разбойников не сыщется л кто либо паче чаяния / в таковом же грабителстве… егда таковые воры поиманы будутъ то б и о моих пограбле/нных пожитках и товарах спрашиват*» (Объявление – НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 96, л. 307 об.; 1772).

Данная лексема со значением лица была образована от общеславянского глагола *грабить* по продуктивной модели церковнославянского языка. Книжное по происхождению слово *грабитель* было известно уже в эпоху Киевского государства и принадлежало языку церковнославянской письменности, то есть термином не являлось. Например: «*И паки не прельщаитеся ни блоудьници ни насильници ни клеветьници ни* ***грабители*** *црства бжия не причаститися*». Сб Тр XII/XIII, 48 об. [8, с. 376]; «*Аще ли кто ни лихоимець есть, ни* ***грабитель****, ни тать, ни любодеи, таковыи праведенъ*». ВМЧ, окт 4-18, 1155. XVI в. [5, с. 113].

В живой речи великорусской народности ему соответствовали синонимичные слова *грабежникъ*, *грабежщикъ*, *грабежчикъ*, образованные при помощи разговорных суффиксов. В документах делового содержания XVII в. слово *грабитель* еще не представлено, также оно отсутствует в Соборном Уложении 1649 г., в котором для номинации преступника, совершившего кражу, использовались термины *вор*, *воровские люди*, *тать*, *разбойник*.

В период формирования норм национального языка термин *грабитель* становится юридическим термином и является общенациональным. Например: «*Воров, разбойников и* ***грабителей****, по всем законам и Божеским и человеческим, по всех просвещенных и человеколюбивых народах, вешают*». Сум. Опекун, 47 [6, с. 206].

Термину *разбойник* свойственно значение ‘лицо, совершившее разбой, грабеж’. В деловых текстах Забайкалья употребляется в специальном значении в разных жанрах деловой документации. Например: «*И старосты выборные хотя про то и не ведали / что их крестьяне на разбои ходили и* ***разбоиникам*** */ пристан чинили…*» (Инструкция – НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 1, л. 6 об.; 1757); «*Въ низовых городах / по Оке до Казани во многих местах немалыя компа/нии* ***разбоинников*** *умножились ходятъ члвкъ по пяти/десятъ и болше и не токмо пловущия по тои реке / суда но и деревни разбиваютъ*» (Инструкция – НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 1, л. 3; 1757).

Церковнославянское по происхождению, слово *разбойник* представлено было в памятниках церковной письменности, а также в деловом языке в качестве юридического термина. При этом лексема *разбойник* являлась многозначной, характеризовалась значениями: ‘убийца’, ‘грабитель, разбойник’, ‘удалец’. Например: «*На соуде, яко* ***разбоинникъ****, осоужаемъ*». Пат. Син. XI в. 47 [9, с. 21]; «*Члвкъ некыи съхождааше отъ Иерслма въ Ерихо и въ* ***разбоиникы*** *въпаде*». Лук. X. 30. Остр. ев. Данный термин уже встречается в Русской Правде: «*Будеть ли стал на разбои без всякой свады, то за* ***разбойника*** *люди не платять*». Рус. Пр., 7. XII в. [9, с. 21].

Постепенно происходит сужение значения специального слова *разбойник*. Так, в Соборном Уложении 1649 г. *разбойник* – это ‘тот, кто учинил разбой’.

В XVIII в. в законодательных документах используется терминологическое обозначение *разбойник* с широкой понятийной сферой. Например: «*Великий государь указал: воров и* ***разбойников****, которые в убивстве, в прямом воровстве, измене или бунте, казнить*». Именной указ, 1704 [10, с. 736; 748]. Кроме того, слово *разбойник* употребляется в значении ‘грабитель’.

В региональных узусах русского языка XVIII в. номинации преступников, совершивших разбой, варьируются.

В пермской деловой письменности XVIII в. термин *разбойник* характеризуется значениями ‘убийца’, ‘разбойник’, ‘грабитель’. Например: «*Вахромия Корнева* ***разбойники*** *де грабят или де двор горит того де она не знает*» [11, с. 12].

В узусе Смоленского края для номинации того, кто нападает с целью грабежа или разбоя, используются лексемы *разоритель*, *нападчик*, *наездник*. Например: «*И в то время в доме оного свещенника шляхтич Иванъ Яковлевъ снъ Бореиша ведомои воръ и* ***розорител*** *умышленно напав билъ отца моего и увечил смертным боемъ*» [12, с. 252]; «*Взяли… полсть медвежю… две шубы сверхъ того разбили крынку с сметаною другую с творогом а ис тех* ***нападчиков*** *признали они белских… откупщика… с целовальниками*» [12, с. 153]; «*Из оных* ***наездниковъ*** *и грабителей узнал я… белских жителеи*» [12, с. 149].

В тюменской деловой письменности для наименования того, кто нападает, функционирует лексема *разбойник*. Например: «… шелъ пешъ с косою, и напалъ на меня… прошу, дабы меня сщенника / Зудилова от вышеписанного наглаго нападателя ругателя и яко *разбой/ника*… защитить» [13, с. 77-78].

Таким образом, в забайкальском деловом узусе XVIII в. терминосистема «наименование преступников, совершающих имущественные преступления», представлена терминами, появившимися в разные периоды развития русского права. К числу новообразований XVIII в. относится номинация церковнославянского происхождения *похититель*, термин *грабитель*, образованный по продуктивной модели книжного языка. Для обозначения преступников используются термины, известные древнерусскому языку (*разбойник*) и приказной традиции (*вор*, *воровские люди*). Термин *тать* в деловом языке XVIII в. архаизируется.

Литература

1. Благова Н.Г. Лексика и фразеология памятников русского права XVII века (на материале Уложения 1649 г.). – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1998. – 104 с.

2. Памятники Забайкальской деловой письменности XVIII в. / под. ред. А.П. Майорова. – Улан-Удэ, 2005. – 260 с.

3. Фасмер М. Этимологический словарь. Т. I-IV. – М., 1986-1987.

4. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2-х т. – М., 1999.

5. Словарь русского языка XI–VII вв. – М., 1975-1995.

6. Словарь русского языка XVIII века. – Л., 1985-2000.

7. Петрунин В.О. Из истории русской юридической лексики Древней Руси и XVIII века (злодей и злодейство) // Лингвистические исследования 1979. Вопросы межуровневого анализа различных единиц. – М.: Наука, 1979. – С. 165-177.

8. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1, 2, 4. – М., 1988-1991.

9. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам: в 4 т. – СПб., 1893-1913.

10. Законодательство Петра I / отв. ред. А.А. Преображенский. – М.: Юрид. литература, 1997. – 877 с.

11. Словарь пермских памятников XVI – начала XVIII века. Вып. 6. / Сост. Е.Н. Полякова. – Пермь, 2001 – С. 40-42.

12. Региональный исторический словарь 2-й половины XVI в. – XVIII в. (по материалам Смоленского края) / под ред. Е.Н. Борисовой. – Смоленск, 2000. – 368 с.

13. Трофимова О.В. Тюменская деловая письменность. 1762–1796 гг. Кн. II: Памятники тюменской деловой письменности (из фондов Гос. архива Тюменской обл.). – Тюмень, 2002. – 828 с.

Овчинникова Мария Владимировна, кандидат филологических наук, преподаватель Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта. Тел. 89148419254.

УДК 81'27

© *С.В. Русанова*

О типах отношений между книжно-славянскими, приказными и разговорными средствами в деловом языке XVIII века (на материале забайкальской деловой письменности)

Статья посвящена функционированию генетически разнородных языковых средств в региональных документах XVIII в., исследуются типы отношений между книжно-славянскими, приказными и разговорными средствами.

Ключевые слова: региональная деловая письменность, механизмы порождения деловых текстов XVIII в.

S.V. Rusanova

Types of the relations between book-slavic, imperative and colloquial means in business language of XVIII century

The article is devoted to the functioning of genetically divers language means in regional documents of XVIII c., types of the relations are investigated between book-slavic, imerative and colloquial means.

Keywords: regional business writing, generation mechanisms of business texts of XVIII c.

Процесс втягивания делового языка в рамки нового языкового стандарта, формирующегося в 18 столетии, представляет достаточно сложное явление, о чем свидетельствует неоднозначность интерпретации его статуса в XVIII в. Так, В.М. Живов считает, что язык деловой письменности первой половины XVIII в., оставаясь приказным, продолжает существовать как особая лингвистическая традиция, параллельная традиции литературного языка и никак, по-видимому, на нее не влияющая. Постепенно исчезая, в середине века эта традиция еще сохраняется в культурной памяти языкового коллектива [1, с. 304]. Приказным деловое письмо XVIII в. называет О.В. Никитин. При этом ученый считает, что «деловой слог» не прекратил своего существования с разрушением традиционной системы прежних столетий, он лишь подвергся значительным изменениям, стилистической и языковой правке [2, с. 99]. А.П. Майоров, исследующий региональный узус деловой письменности данного периода, подчеркивает, что в деловом языке первой половины XVIII в., при сохранении приказной традиции, идет

процесс нормализации книжных элементов прежде всего в официально-деловой документации – распорядительных, уведомительных, отчетно-исполнительных документах. Во второй половине XVIII в. происходит не вытеснение самого приказного языка, а прекращение той стилистической традиции, которая была тесно связана с жанрами деловой письменности, с выходом из делопроизводственного обихода отписок, памятей, некоторых разновидностей челобитных сказок, свидетельских показаний и др. Вместе с тем подвергаются забвению и типичные приказные формы [3, с. 10]. М.С. Выхрыстюк считает целесообразным сдвинуть хронологические рамки понятия *старорусский деловой текст*, распространяя его на XVIII в. В этот период язык характеризуется, с одной стороны, обязательностью, устойчивостью, функционально-стилистической обусловленностью, с другой стороны – нестабильностью, широким варьированием языковых единиц, что позволяет, по мнению ученой, применять понятие «норма» к данной исторической эпохе лишь отчасти. Написание в XVII-XVIII вв. является узуальным, традиционным. Общерусские нормы делового текста зафиксированы прежде всего на уровне формуляра [4, с. 23].

За внешней противоречивостью в оценке нормативности языка деловых памятников XVIII в. кроется признание его гетерогенной природы, свойственной в целом складывающемуся русскому национальному литературному языку. Так, В.М. Живов, рассуждая о хаотичности языка Петровской эпохи, пишет: «В контексте петровской языковой политики нормативным является сам отказ от старого книжного языка, в то время как разнородность элементов, конституирующих новый литературный язык, остается для реформаторов безразличной» [1, с. 156].

Деловой документ исследуемого периода включает в себя языковые элементы, связанные с новым языковым стандартом, формировавшимся под влиянием книжно-славянского языка, с приказной традицией и разговорным языком в его общенародной и региональной разновидностях. В данной ситуации актуальным оказывается вопрос о механизмах порождения деловых текстов, или, другими словами, вопрос о практических навыках понимания и создания новых текстов, которые формировались в процессе обучения деловому письму. Примечательной в этом плане кажется аналогия с механизмом пересчета, действие которого при создании книжных текстов в Киевской Руси было обнаружено В.М. Живовым [1, с. 23]. «В языковой ситуации XVIII в., – пишет А.П. Майоров, – деловой стиль формируется, отталкиваясь от приказной традиции и вбирая в себя элементы книжно-литературного узуса. В этом случае механизм пересчета «работает» в соотнесении книжно-славянских средств с элементами приказного слога, с одной стороны, и с явлениями живого языка, с другой» [3, с. 74]. Таким образом, книжно-славянские элементы начинают выполнять не свойственную им до этого времени роль признаков канцелярского стиля, по аналогии с признаками книжности. Так как ключевым, функционально

маркированным для делового документа является, как известно, формуляр, именно в его словесной организации в первую очередь обнаруживается использование славянизмов в качестве жанрово-стилистического средства. Ср. примеры из региональных документов первой половины XVIII в. Из промемории 1730 г.: J Генера^{л}ного правления в ка^{н}целяриі о при | еме *се* промеморіі по *уведомленіі* о *вышеписа^{н}ны^{х}* материала^{х} *да бл҃го|волитъ* учинить по Ея Императорского Величества ука^{зу} [ПЗДП, 29, л. 157]; из рапорта 1731 г.: Сего 731го го^{ду}маия 17го дня пограничьного ро^{з}ез'ду | то^{л}мачь Григоре' Во^{л}гарь в Селен'гин'скъ къ пограничь|нымъ дѣламъ подалъ за рукою репо^{р}тъ о слѣ^{д}ствіj | воро^{в}скихъ люде' и со *много* репо^{р}ту списана точь|ная копия [РГАДА,1092, оп. 1, ед. хр. 4, л. 6]; из указа 1731 г.: а когда с нимъ Протасовы^{м} о^{т}^{р}гински^{х} | владѣ^{л}цо^{в} на *вышепомянутые* пи^{с}ма | получи^{т}ся пи^{с}менно' о^{т}вѣтъ то *оно* присла^{т} | тебѣ в Ы^{р}куцкъ генера^{л}наго пограничного пра^{в}|ления в ка^{н}целярию с прилучающимися о^{т}пра^{в}|лениями неме^{д}ленно [РГАДА,1092, оп. 1, ед. хр. 4, л. 47]; из указа 1736 г.: о прісылкѣ в и^{р}ку^{т}ской | а^{р}хіере'ско' прика^{з} учинить по *се^{му}* Ея Импера|торского Велічества указу в само' скоро^{с}ти [НАРБ ф. 262, оп. 1, д. 40 а, ч. 2, л. 169 об.].

Однако исследование языка деловых документов данного периода свидетельствует о том, что в новых условиях возможным оказывается и другой путь развития отношений между книжными, приказными и разговорными элементами. Ориентации на применение в деловом языке славянизмов как специфических, стилеобразующих средств не противоречило усвоение нормой нового слога приказных и разговорных элементов, их функциональное переосмысление, или, иначе говоря, адаптация. Речь идет о том, что в условиях отказа от приказной традиции отдельные ее элементы сохраняют свою актуальность и продолжают использоваться как нормативные, причем знаковый характер подобных элементов с особой наглядностью обнаруживается также на уровне формуляра. Так, в региональных памятниках на протяжении всего XVIII в. функциональную значимость сохраняет формула *руку приложил*, дифференцирующая в исследуемый период документы, адресанты которых выступали прежде всего как частные лица. Формула рукоприкладства конечного протокола оказывается обязательной во всех видах просительных документов Забайкалья. Ср., из мировой челобитной 1730 г.: К сему прошению вмѣсто о^{т}вѣчьчика Егора Чеботнягина | прошение^{м}ево Яко^{в} Гурылѣвъ *руку приложы^{л}* [НАРБ, ф. 262, оп. 1, д. 6, л. 25 об.]; из прошения 1734 г.: К семѹ прошению вмѣсто Ильи Кочмарева егѡ | прошениемъ того ^{ж}мн^{с}тря церковни^{к} Іванъ Ши | ряевъ *руку приложилъ* [НАРБ, ф. 262, оп. 1, д. 13, л. 16]; из челобитной 1741 г.: к сему прошению А^{н}дре Попо^{в} *руку приложилъ* [ПЗДП, 74, л. 2]; из объявления 1772 г.:кяхти^{н}скои купецъ Петръ Захаро^{в} *руку приложилъ* [ПЗДП, 80, л. 307 об.]; из прошения 1797 г.: к сему прошению ясашнои Василей Шишмановъ = | *руку приложилъ* [ПЗДП, 90, л. 175 об.].

К этой же группе относятся и такие документы судебно-следственных дел, как допросы, допросные речи, объяснения, сделочно-договорные акты. Ср., из допроса 1727 г.: прошение^{м} Григо^{р}я Машихина земско’ і^{з}бы | пищикъДмитре’ Че^{р}касо^{в} рукѣ приложи^{л} [НАРБ, ф. 262, оп. 1, д. 6, л. 4]; из допроса 1772 г.: к сему допросу са^{л}да^{т} Григореи Расторгуевъ *руку приложилъ* [ПЗДП, 93, л. 4 об.]; из допроса 1796 г.: К сему допросу прозбою иркуцкаго мещанина Тимофея| Калмакова верхнеудинскои мещанинъ Григореи Скорняковъ *руку| приложилъ* [НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 2968, л. 7 об.].

Формула *руку приложил*, унаследованная из приказной системы делопроизводства, в новых условиях вступает в оппозицию с элементами конечного протокола документов, авторами которых выступают должностные лица. Так, в конечном протоколе распорядительной, уведомительной, отчетно-исполнительной документации глагольное сочетание *руку приложил* отсутствует; традиционной формой подтверждения вышеизложенной в документе информации оказывается указание на должность, фамилию и имя удостоверяющего эту информацию. Ср., из рапорта 1731 г.: со оного репо^{р}ту списана точь | ная копия и послана при семъ репо^{р}те в Ы^{р}куцкъ | генера^{л}ного по^{л}ку пято’ роты с са^{л}дато^{м} Ипато^{м} | Меледины^{м} *маеорь Ме^{р}линь* [РГАДА,1092, оп. 1, ед. хр. 4, л. 6]; из указа 1736 г.: J намѣстнику іеромонаху Лаврентію і стро | йтелю іеромонаху Тихону о вышеписа | нно^{м} учинить по онымъ и по сему Ея | Император’ского Величества указо^{м} | *Намѣстникъ архима^{н}дритъ Кwрниліи| іеромона^{х} Иннокентіи | Иерѡмwнахъ Пахѡміи* [НАРБ ф. 262, оп. 1, д. 40 а, ч. 2, л. 255]; из указа 1737 г.: служило^{му} | Петрwвы^{х} вкладчику Василью Осиновъ | скихъ учинить по сему Ея Императорского | Величества указу *воевода Гаврило Дере^{в}ни^{н}* [НАРБ ф. 262, оп. 1, д. 40 а, ч. 2, л. 301].

Регистрационные документы, составляющиеся по случаю инвентаризации, официальной передачи имущества, «закрепляли» по листам и подписывали ответственные люди. Например, записная книга расходов Троицкого Селенгинского монастыря за 1739 г., скрепленная по листам архимандритом монастыря, заверена в конце его же подписью «Нафанаил» [НАРБ ф. 262, оп. 1, д. 33, л. 16 об.]; опись имущества того же монастыря за 1764 г. имеет по листам скрепы исправляющего настоятельскую должность иеромонаха Феофана Стукова и иеромонаха Адама Попова [НАРБ, ф. 262, оп. 1, д. 55, л. 23 об.].

В то же время регистрационные документы, составленные частными лицами, характеризуются традиционной для этого типа документов формулой конечного протокола. Так, регистр денег и товара, составленный селенгинским мещанином Максимом Власовым и приложенный к объявлению о краже у него имущества, оканчивается формулой: к сему реистру селенгинскои мещенинъ | Максимъ Власовъ руку приложилъ [НАРБ ф. 20, оп. 1, д. 3026, л. 4 об., 1797 г.].

Формирование делового языка нового типа в условиях демократизации литературного языка и активной секуляризации церковнославянизмов делало возможным еще один исход в отношениях между книжно-славянскими языковыми средствами, с одной стороны, и приказными и разговорными, с другой: составляющие оппозицию элементы могли функционировать как допустимые варианты. Так, в результате синтеза трех языковых источников формируется терминология уголовного права XVIII в., отличающаяся вариативностью многих терминов, среди которых такие, как *преступление – злодейство – продерзость – противозаконный поступок*; *битие/битье – побой*; *кража – покража – воровство – похищение* и т. д. [5, с. 12]. Как равноправные, стилистически недифференцированные варианты в первой половине XVIII в. функционируют частицы *только – токмо – точию* [3, с. 78]. Без каких-либо стилистических различий используются относительные местоимения *кой – который*, позволяющие снять нежелательный повтор в предложениях с несколькими однотипными придаточными. Ср. в рапорте 1768 г.: В силу насла^{н}наго мне из Ыркуцкои губернскои | канцеляри указа принето мною из Ыркуцкои | рентереи слуды одинъ пудъ *кою* велено по при | быти в Удинскъ о^{т}дать в вышеписанную ка | менданскую канцелярию *которая* при семъ репорте пре$^{д-}$ставляетца и в приеме тои | слуды дать мне квитанцию по^{д}порутчикъ Јванъ Челюскинъ [НАРБ, ф.88, оп.1, д. 40, л. 204, 1768]; из прошения 1797 г.: и ме^{ж}ду протчимъ согласились взять вйна | *за коимъ* я и пошедъ в питеиной до^{м} и выпрося у це | ловалнйка восминникъ *в которой* и взя^{л} на дватцать | копеекъ и вышелъ со оны^{м} на улицу к товарищам своим [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 494, л. 174]; а когда тащили оные то на тотъ | случай прилучился быть здешней емщичей староста | *коего* о имени и отечестве не знаю. *которои* просилъ | по обсказыванию ево старосты чтобы избавить меня | о^{т} таковы^{х} биениевъ и увечья [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 494, л. 174 об-175].

Таким образом, функционирование генетически разнородных языковых средств в рамках формирующегося канцелярского слога обнаруживает тенденции к дифференциации, результатом которой могли быть развитие у книжных элементов специфической стилеобразующей функции, адаптация элементов приказного языка, не подвергшихся вытеснению, а вошедших в новый канцелярский узус в качестве нормативных, и вариантное употребление церковнославянских, приказных и народно-разговорных элементов. Именно функциональное переосмысление гетерогенных средств в деловых текстах сближало их с другими жанрами книжно-литературного языка и свидетельствовало о вхождении их в единое культурное пространство.

Литература

1. Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. – М., 1996.

2. Никитин О.В. Язык указов Екатерины II1762 г. и формирование официально-делового стиля в России XVIII в. // Филологические науки. 2003. – № 6. – С. 93-99.

3. Майоров А.П. Очерки лексики региональной деловой письменности XVIII века. – М., 2006.

4. Выхрыстюк М.С. Тобольская письменность XVII-XVIII вв. в аспекте лингвистического источниковедения и исторической стилистики: автореф. ... д-ра филол. наук. – Челябинск, 2008.

5. Овчинникова М.В. Терминология уголовного права XVIII века (на материале памятников деловой письменности Забайкалья): автореф. ... канд. филол. наук. – Улан-Удэ, 2008.

Сокращения

НАРБ – Национальный архив Республики Бурятия

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

ПЗДП – Памятники забайкальской деловой письменности XVIII века / под ред. А.П. Майорова; сост. А.П. Майоров, С.В. Русанова. Улан-Удэ, 2005.

Русанова Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и исторического языкознания Бурятского государственного университета.

E-mail: rusanowa_7@mail.ru

УДК 81'36

© *В.А. Цыбикова*

Глаголы со значением распоряжения в деловом языке XVIII века (на материале забайкальской деловой письменности)

В статье рассматриваются особенности употребления глаголов *приказать/ приказывать, велеть, предписать/ предписывать* в языке деловой письменности XVIII в.

Ключевые слова: деловой язык XVIII века, жанры деловой письменности, глаголы распоряжения.

V.A. Tsybikova

Verbs of disposition in the official register of the 18-th century (based on the Transbaikalian business documentation)

The article considers peculiarities of the verbs usage «order / command, enjoin, prescribe / order» in the official register of the 18-th century.

Keywords: official register 18 centuries, genres of business documentation, verbs orders.

Памятники деловой письменности XVIII в. предоставляют богатые возможности для изучения формирования лексических норм русского национального языка. Большой интерес, в частности, представляют распорядительные документы того периода, которые в силу своей жанровой специфики содержат разнообразные языковые средства выражения приказа, распоряжения, предписания, требования и т.п.

В русском языке XVIII века широко употребительными были слова-синонимы со значением распоряжения – *приказывать, велеть, предписывать, наказывать, требовать* и др. Эти глаголы с теми или иными семантическими, стилистическими оттенками можно встретить в письменных текстах самых разнообразных жанров. Однако их семантико-стилистические

различия формируются и отражаются наиболее наглядно в памятниках определенного функционального предназначения, определенной тематики и сферы функционирования.

Таким образом, опираясь на материал деловых текстов, исследование семантико-стилистических различий у лексем со значением распоряжения предполагает в первую очередь учет особенностей жанров деловой письменности. Проблема классификации памятников деловой письменности донационального и национального периодов освещалась в трудах [1; 2; 3; 4; 5 и др.]. К распорядительным (или императивным) документам XVIII в. ученые относят указы, приказы, инструкции, ордера, извещения, промемории и др. В зависимости от жанра документа у глаголов со значением распоряжения выявляются семантико-стилистические оттенки категорического/некатегорического предписания, официального/бытового распоряжения. При этом из приведенных глаголов распространение в памятниках забайкальской деловой письменности в активном употреблении отмечаются только три – *велеть, приказать/приказывать* и *предписать/предписывать*.

Так, глагол *велеть* в документах распорядительного характера (в основном в указах) устойчиво используется в значении официального распоряжения: *в указе Его Императорского Величества ис Тоболска от великого гдс̃на преосвященного Антония митрополита тоболского и сибирского велено переписать по сколку ...* (ПЗДП, 1, 1725); *послать доброго толмача которому велеть говорить пристойным образом дабы вышепомянутых взятых у означенного брацкого десять лошадей отдали в Россиискую империю без задержания* (ПЗДП, 2, 1730).

В то же время в документах другой функциональной предназначенности этот глагол встречается со значениями: а) бытового приказа – *И онъ тогда велелъ хозяйке ставит[ь] на столъ шарбы а я сказалъ ему что ужинат[ь] не хочу* (НАРБ, ф. 20, 1792, из сообщения); *И онъ Вяткинъ <...> началъ необычно харчат[ь] и появилас у него кров[ь] чего ради видя я такую неистовую причину и велел жене своей добыт[ь] огня* (НАРБ, ф. 88, 1769, из допроса); б) ‘заставлять что-л. делать’ – *Зайсан Убашей велелъ под полами и на вышк҃ѣ землю копати да пожитки искати* (НАРБ, ф. 1092, 1796, из допроса); *Плюнул де мне в глаза и при том бранил всячески коего де я только ударил раза три плетью, и велелъ протолкать коего де бывшие тут братские и увели* (ПЗДП, 31, 1766, из промемории); в) ‘запрещать (с отрицанием)’ – *И в пути по лесамъ и ягодъ ясти не велели* (НАРБ, ф. 10, 1735, из допросных речей).

У синонима *приказать/приказывать* значение официального приказа еще только формируется: не случайно поэтому *приказать/приказывать* употребляется в документах различных жанров шире, чем глагол *велеть*. Однако императивная категоричность в семантике этого глагола присутствует всегда: *Верхнеудинской городовой магистратъ безотговорочно приказали об осрочке в казну пошлинных денегъ верить* (ПЗДП, 102, 1797, из

протокола); *Бригадиръ приказал на кормъ тунгусамъ в пути до Иркуцка выдать кормовых денегъ* (НАРБ, ф. 88, 1797, из прошения); *Симъ поступком со обоих сторон право челобитя было потеряно, то присудствующим приказано им было помирится и помирилис, после чего им выговоръ учиненъ былъ* (ПЗДП, 58, 1783, из репорта); *Ваше превосходительство прошу от обитчиков защитить и взятых насилно лошадей приказать отобрать* (ПЗДП, 86, 1785, из просьбы).

Глагол *предписать/предписывать* выступает со значением 'приказывать, отдать письменный приказ о чем-нибудь' и употребляется так же, как и глаголы *велеть* и *приказать* в 3 лице ед./мн. ч., в форме страдательного причастия и инфинитива. *Указом предписано что все безъ изятия чины носили во всякое время положеннои мундир* (ПЗДП, 13, 1798, из извещения); *Его Император'скаго Величества указомъ предписываетъ о прiходе расходе и об осьтатке денежнои казны й провйанта ведомостям показывано было на каждом могазеине* (ПЗДП, 25, 1798, из ордера).

Главное его отличие от глаголов *приказывать* и *велеть* заключается в том, что *предписывать* может употребляться перформативно: *Предписываю тебе книгй о приходе и расходе с документами отъ оных впредь в узаконенное время представлять* (ПЗДП, 26, 1798, из ордера); *Я тебе главному шуленге предписываю для договора выслать поверенных йли зделать снарядъ людей с лошадми на смену караулных братских й по исполъненiи сего вскорости мне донести* (ПЗДП, 18, 1796, из приказа).

Таким образом, в деловом языке XVIII в. с семантикой распоряжения активно функционирует три глагола – *велеть, приказать/приказывать* и *предписать/предписывать*. Отмечая инонимичность их употребления, следует подчеркнуть, что прослеживается тенденция к дифференциации отдельных значений и стилистических особенностей у исследуемых слов.

Литература

1. Волков С.С. Лексика русских челобитных XVII в. Формуляр, традиционные этикетные и стилевые средства. – Л., 1974.

2. Городилова Л.М. Деловая письменность приенисейской Сибири XVII в. как источник региональной исторической лексикографии. – Хабаровск, 2003.

3. Качалкин А.Н. Жанры русского документа допетровской эпохи в историко-лингвистическом и источниковедческом освещении: в 2 ч. – М., 1988.

4. Котков С.И. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. – М., 1980.

5. Майоров А.П. Очерки лексики региональной деловой письменности XVIII века. – М., 2006.

Сокращения

НАРБ – Национальный архив Республики Бурятия

ПЗДП – Памятники забайкальской деловой письменности XVIII в. / под ред. А.П. Майорова; сост. А. П. Майоров, С.В. Русанова. – Улан-Удэ, 2005.

Цыбикова Вера Александровна, аспирант кафедры общего и исторического языкознания Бурятского государственного университета. E-mail: tsybikova.vera@mail.ru

IV. БУРЯТОВЕДЕНИЕ И МОНГОЛОВЕДЕНИЕ

УДК 811.512.36'

© *Аюурын Бумбаар*

Национально маркированная лексика в монгольском переводе пушкинского произведения «Сказка о рыбаке и рыбке»

Статья посвящена проблеме адекватного перевода поэтического текста. Внимание фокусируется на культурной коннотации русских слов как фактора расхождения межъязыковой эквивалентности.

Ключевые слова: стереотипы, этноспецифика, первичность и вторичность перевода, смысловое развитие оригинала в переводе, выбор языковых средств

Ayuryn Bumbaar

Nationally marked lexics in mongol translation of Pushkin`s "Tale about fish man and fish"

This paper discusses the issue of adequacy in poetry translation. It mainly focuses on the problem of essential divergence of Russian and Mongol interlanguage equivalents, that can coincide with each other only via their nominative semantics, but diverge via their connotative background, conditioned to national-cultural differences between languages. The paper shows how Pushkin`s Mongol version may be caused by cultural means, while the nominative level information remains basically correct.

Keywords: stereotypes, national background, primary and secondary transfer, the development of the original meaning translation, the choice of linguistic means.

Перевод функционирует в иной языковой среде как самостоятельное произведение словесного искусства и только в ее пределах может быть воспринят и оценен. Творческая проблематика художественного перевода освоена наукой еще очень мало. Особую сложность для переводчика представляет именно интерпретации национальной языковой картины, описание ментальности образов и их инвариантов. А. С. Пушкин стал одним из первых русских писателей, произведения которого были избраны монгольскими переводчиками старшего поколения для переводов. Сопричастность с картиной мира другой культуры открывает новые возможности видения. Перевод Ц. Дамдинсурэна «Сказка о рыбаке и рыбке» на монгольский язык воспринимается в соответствии с фольклорным каноном, представленная языковая картина мира, присущая русской народности, в монгольском варианте сохранена. В поэтической форме перевода языковая картина мира, отражающаяся в словесных образах, отличается монгольским национальным своеобразием, воплощает ментальность монгольского народа.

Язык – это не только средство общения и выражения мышления, но и мироведение, в нем отражаются образы, взгляд культур на мир. Человек как языковая и культуроносная личность свои представления отражает в

словесных образах, в образных средствах языка, в устойчивых национально- культурных образованиях, это позволяет говорить об их общенациональной маркированности и своеобразии национально языковой картины мира. Словесный образ – это важнейшая языковая сущность, в которой содержится основная информация о связи слова с культурой. В работе "Язык и философия культуры" В. фон Гумбольдт отмечает: «Сколько существует языков, столько существует видений мира» [1, с. 451]. Писатель как языковая личность в своем произведении создает словесный образ, через мышление и манеру поведения героев передает своеобразие национально языковой картины.

История перевода пушкинских произведений в Монголии началась с середины 30-х годов, когда известные писатели и переводчики Д. Нацагдорж, Ц. Дамдинсурэн, Б. Ринчен перевели "Анчар", "Узник", "Ворон к ворону летит", "Земля и море", "Пробуждение", "Дуэль", "Брожу ли я средь улиц шумных" и драму "Борис Годунов", вошедшие в сборник, изданный в 1937 году. В честь 150-летия со дня рождения А.С. Пушкина в 1949 г. был выпущен двухтомник избранных произведений. В него вошли в переводе Э.Оюун повесть "Станционный смотритель", Ч. Чимида – "Гробовщик", Ч. Лодойдамбы, Ц. Зандры – "Арап Петра Великого", Б. Дашцэрэна, Ц. Цэдэнжава – "Египетские ночи", Н. Жамбалсурэна – "Киржали", Н. Соднома – "История села Горюхина", начатая Д. Нацагдоржем и завершенная Ш. Нацагдоржем – "Пиковая дама", Х. Пэрлэ – "Кавказ", Б. Ринчена – "Няня", Ц. Цэдэнжава – "Зимний вечер", "Деревня" и другие произведения. В 1956 г. Ч. Чимидом была переведена на монгольский язык поэма "Евгений Онегин".

Сопричастность с картиной мира другой культуры открывает новые возможности видения. Текст, особенно художественный, неразрывно связан с его творцом, а на его восприятие свой отпечаток накладывает личность читателя. На родине языка *национальная картина мира* формируется в результате естественной погруженности в этнокультурное пространство. В пушкинской сказке в своей совокупности отражена русская национальная особенность, национальный менталитет.

Перевод функционирует в иной языковой среде как самостоятельное произведение словесного искусства и только в ее пределах может быть воспринят и оценен. Художественный письменный перевод, одной из разновидностей которого является стихотворный перевод, имеет свою специфику и ставит перед переводчиком еще более сложные задачи. При переводе произведения языковой материал непременно влияет на характер передаваемого сообщения. Особую сложность для переводчика представляют именно интерпретации национальной языковой картины, описание ментальности образов и их инвариантов. Перевод – произведение не монолитное, это взаимопроникновение, конгломерат двух структур: с одной стороны, есть содержание и формальные особенности оригинала, с другой – це-

лый комплекс художественных черт, связанных с языком переводчика. Следует отметить, что в настоящее время недостаточно рассмотрены и изучены языковые особенности произведения монгольских переводчиков.

«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина позволяет находить свой контекст, свое видение, которое подсказано жизнью в другом социуме, в новом культурном и бытовом окружении. В переводе Ц. Дамдинсурэна в основном сохранена поэтическая форма оригинала, а также основные смысловые аспекты и художественные характеристики, смысловые отношения сопоставления и противопоставления (антитеза), выделен воспитательный аспект. Одновременно раскрыты этические ценности, ключевые эмоции, сокровенное желание. И сегодня «Сказка о рыбаке и рыбке» своей близостью к народному творчеству воспринимается в соответствии с фольклорным каноном. Привычные фольклорные элементы и детали архаичного русского быта часто незнакомы монголам или воспринимаются через опыт знакомства со сказками народов мира (русскими в их числе).

В лексике произведения встречаются слова, которые в настоящее время стали архаизмами: *душегрейка, чиновный люд, парчовая на маковке кичка*. Встречаются фразеологизмы: *вытолкать взашеи, поделом тебе, на чем свет ругает*. Необходимо отметить, что выражения из сказки *остаться у разбитого корыта*, *что тебе надобно, старче*, *золотая рыбка* в русском языке, в свою очередь, стали фразеологизмами. Несомненно, пояснения нужны для таких выражений, как *Ну, теперь твоя душенька довольна?*; *Не садись не в свои сани*; *Белены объелся*. В текстах представлены и архаичные синонимы, которые часто встречаются в русских сказках: *светелка* (из «Сказки о рыбаке и рыбке») – *светлица – горница – гридница* (из других произведений Пушкина), или пояснения, касающиеся упоминаемых в сказке типов домов (*землянка, изба, терем, царский дворец – палаты*). *Терем* – высокое жилое здание, барский или боярский дом. *Палата* – великолепное здание, принадлежащее царю или вельможе. Но название *палата* в старину переносилось на «присутственное место», например, *казенная палата*, *палата гражданского суда*. *Палатами* стали называть и парламенты, выборные собрания.

Фольклорные элементы сказки передают русскую языковую картину мира. И хотя перевод «Сказки о рыбаке и рыбке» на монгольский язык воспринимается сообразно фольклорному канону и близок к народному творчеству, представленная языковая картина мира, присущая русской народности, в монгольском варианте более содержательнее и выразительнее.

Уже в первой строфе переводчиком вводится мотив, присущий монгольской сказке:

Жил старик со своею старухой	*Хөрст алтан дэлхийн*	*Хөвөө хязгаар нутагт*
У самого синего моря;	*Хөх цэнхэр далайн*	*Эрэг ирмэг газарт.*
Они жили в ветхой землянке	*Газрын агуйд хоргодож*	*Галын илчинд шүтэж*
Ровно тридцать лет и три года	*Гучин жил тэнэж*	*Дөчин жил суув*

Здесь необходимо отметить следующие отступления от оригинала:

1. Стилистические формы, способствующие наиболее естественному для монгола восприятию сказки, с помощью языковых и иных ассоциаций привлекают в текст новые элементы содержания, которых не было в составе идейной концепции подлинника.

2. Синтаксическое оформление смыслового аспекта довольно своеобразно, и удачно отражен характерный лаконизм монгольской речи.

3. Для оригинала типично преимущественное использование последовательных форм развертывания действий в предложении, а монгольскому языку, наоборот, свойственно более широкое использование параллельных предложений:

В монгольском –	*Газрын агуйд хоргодож*	*Галын илчинд шүтэж*
	Гучин жил тэнэж	*Дөчин жил суув*
В русском –	*Они жили в ветхой землянке*	*Ровно тридцать лет и три года*

4. Растяжение строк – вместо четырех восемь:

...Бог с тобою, золотая рыбка!	*...Чиний өгөх юм*
Твоего мне откупа не надо;	*Надад хэрэг байхгүй*
Ступай себе в синее море,	*Чиний үнэтэй бие*
Гуляй там себе на просторе...	*Надад олз болохгүй*
	Ариун далайдаа цэнгэж
	Аль дураараа амьдран
	Ачит тэнгэрт өршөөгдөж
	Амар мэнд яв....

5. Употребление дополнительных слов, способствующих частичному сохранению основных смысловых отношений.

...Старика старуха забранила:	*...Алтан загаснаас юм*
"Дурачина ты, простофиля!	*Авч чадсангүй чи*
Не сумел ты взять выкупа с рыбки!	*Мунхаг амьтан ядахдаа*
Хоть бы взял ты с неё корыто,	*Модон тэвш гуйсан бол*
Наше-то совсем раскололось..."	*Маш хэрэгтэй байхсан*
	Манай тэвш хуучирч
	Хагарч эвдрээд бүр

6. Использование приема поэтической метафоризации, присущей монгольской поэтической речи

Вот идет он к синему морю,	*Далайн хөвөөнд очвол*
Видит, на море чёрная буря:	*Давалгаа гэж учиргүй*
Так и вздулись сердитые волны,	*Хар салхи үлээж*
Так и ходят, так воем и воют.	*Харанхуй шуурга тавьж*
	Сүрхий долгион цалгиж
	Сүйд болж байна

7. Использование лексики с национально-культурной коннотацией, присущей мировидению монгола:

Смилуйся, государыня рыбка!	*Хатан дээд загас минь*
Что мне делать с проклятою бабой?	*Хайрлаж намайг өршөө*
Уж не хочет быть она царицей,	*Уршигт муу эмгэн*
Хочет быть владычицей морскою;	*Уурлаж загнаад болохгүй*
Чтобы жить ей в Окияне-море,	*Хүний хаан болсон ч*
Чтобы ты сама ей служила	*Хүсэл жаргал дутуу гэнэ*
И была бы у ней на посылках"	*Эзэн хаан болсон ч*

Эрх ямбаа чамлана гэнэ
Тэнгис далайг эзэлж
Тэнгэр газрыг захирна гэнэ
Алтан загас чамайг
Албат зарцаа болгоно гэнэ.
Яв гэсэн газар явж байх
хэрэгтэй гэнэ.

8. Введение монгольских фразеологизмов.

Белены объелась (ховдог санаа хэтэрч хоосон байснаа мартав уу?);
Поделом тебе (хирээ мэдэж яв, бяраа мэдэж өргө);
Не даёт старику мне покою (хөгшин намайг амраахгүй хөөж загнаад болохгүй).

В области лексики этот перевод также довольно интересен – с одной стороны, переводчик сохранил национально-культурную коннотацию для кумуляции мировидения, передачи элементов монгольской картины мира, с другой – немного изменил семантическое звучание образов, ввел дополнительную экспрессию, не эквивалентную оригиналу.

Сопоставленные фрагменты:

1. Жилище:

А. *землянка (газрын агуй);*
Б. *изба (байшин);*

В. *Перед ним изба со светёлкой,*	*Гэгээн цагаан өнгөтэй*
С кирпичною, белёною трубою,	*Гэрэл орох цонхтой*
С дубовыми, тесовыми вороты.	*Царс модон хаалгатай*
Старуха сидит под окошком.	*Цагаан байшин харагдаж гэнэ.*
Г. *Что ж он видит? Высокий терем.*	*Өндөр сайхан байшин*
На крыльце стоит его старуха	*Өргөө сайхан ордон*
Д. *Что ж! пред ним царские палаты.*	*Өрөө олон тасалгатай*
	өндөр сайхан ордон

2. Одежда.

В дорогой собольей душегрейке,	*Эрхэм булган дээлтэй*
Парчовая на маковке кичка,	*Эрээн хоргой малгаатай*
Жемчуги огрузили шею,	*Эрдэнэ сувдаар чимэглэсэн*
На руках золотые перстни,	*Утсаар угалз тавьсан*
На ногах красные сапожки.	*Улаан гутал өмсөөд*
	Алтан бөгж зүүсэн
	Арван мойног хуруугаар

3. Социальный статус персонажей.

Чёрная крестьянка (харц тариачин); столбовая дворянка (тайжин эрхэм хатан, хамжлагат тайж); царица (хатан хаан);

слуги (аягч хүүхэн,); бояре (ноёд); дворяне (бичгийн түшмэд); стража (баатар цэрэг); государыня (хатан дээд);

царедворцы (ордны бараа бологч).

Как показал сравнительный анализ, перевод может содержать условные изменения по сравнению с оригиналом – и эти изменения совершенно необходимы и оправданы, если целью является создание аналогичного оригиналу единства формы и содержания на материале другого языка, однако тот же анализ подтвердил, что эквивалентность перевода зависит как от

объема, так и от характера этих изменений. Языковая картина мира, отражающаяся в словесных образах мира, отличается национальным своеобразием, воплощает ментальность народа.

Литература

1. Гумилев Н. Перевод стихотворный // Перевод – средство взаимного сближения народов: сб. ст. – М.: Прогресс, 1987.
2. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. – М., 1985. – 451 с.
3. Задорнова В.Я. Восприятие и интерпретация художественного текста. – М.: Высш. шк., 1984. – 152 с.
4. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек. Текст. Семиосфера. История. Языки русской культуры. – М., 1996. – С. 21-22.
5. Латышев Л.К. Межъязыковые трансформации как средство достижения переводческой эквивалентности // Семантико-синтаксические проблемы теории языка и перевода. – М., 1986.
6. Пропп В.Я. Фольклор и действительность: избранные статьи. – М.: Наука, 1976. – С. 47.
7. Топер П. Перевод и литература: творческая личность переводчика // Вопросы литературы. – 1998. – №6.

Аюурын Бумбаар, доктор Ph.D, доцент МГУНТ. E-mail: bumbar@mail.ru

УДК 811.512’373

© *Н.Б. Бадмацыренова*

Идиоматические сочетания в монгольских языках

Представленная статья посвящена проблеме специфики смысловой структуры, семантической целостности, которая, в свою очередь, обусловила такие немаловажные свойства идиоматических сочетаний, как отсутствие у компонентов внутри идиомы парадигматических и синтагматических свойств, застывшие грамматические отношения между компонентами идиом, индивидуальный характер значения.

Ключевые слова: фразеология, идиомы, фраземы, семантическая целостность, мотивированность

N.B. Badmatsyrenova

Idiomatic combinations in Mongolian languages

The article is devoted to the specific semantic structures, semantic integrity, which in turn led to other important properties of the idiomatic combinations, such as: lack of components within the idiom of paradigmatic and syntagmatic properties, rigid grammatical relations between the components of idioms, the values of individual character.

Keywords: phraseology, idioms, frazems, semantic integrity, motivation.

Идиоматические сочетания представляют собой составную часть фразеологического фонда любого языка. В монгольских языках наблюдается количественное преимущество идиом над фраземами. Они совпадают со свободными сочетаниями, так же как и другой структурно-семантический тип фразеологических единиц – фразеологические сочетания, лишь по внешнему оформлению; это связано с тем, что идиомы-фразеологизмы, равно как и фраземы, большей частью генетически восходят к указанному типу сочетаний слов. По смысловому содержанию они отграничиваются как от свободных соединений слов, так и от фразеологических сочетаний. От последних идиомы отличает один существенный признак – семантическая целостность, основанная на идиоматичности.

Согласно определению Г.Ц. Пюрбеева, «…идиоматические сочетания отличаются от фразеологических сочетаний тем, что их целостная семантика не является простым суммированием переносных значений компонентов, а представляет качественно новое образование» [2, с. 47]. Иначе говоря, в семантическом плане идиоматические сочетания выступают как неделимые единицы. Слова, входящие в их состав, не обладают свойствами семантической отдельности, хотя в некоторых разновидностях идиом они не лишены свойства изолируемости. Идиоматические сочетания характеризуются наличием образного, переносного значения в целом. Т.А. Бертагаев разделил все фразеологические единицы на фразеологические сочетания и фразеологические речения. В состав первых, по его мнению, входят идиомы. Идиомы он охарактеризовал как фразеологические единицы, значение которых представляется независимым от непосредственных значений слов, входящих в состав данного сочетания, полностью лексикализованного и представляющего в структурном отношении наиболее компактное целое из всех видов устойчивых фразеологических единиц [1, с. 66-68]. Ж. Төмөрцэрэн в работе «Лексикология современного монгольского языка» посвятил фразеологизмам небольшой раздел, в котором он предпринимает попытку их классификации. В данной классификации особое место он отводит идиомам, которые в его понимании являются едиными, целостными сочетаниями, как в структурном, так и в семантическом отношении, также он подчеркивает их метафоричность [3, с. 118]. Таким образом, примерами идиом могут служить следующие сочетания: монг. *ээзгий буцалгах* ‘задавать храповицкого’ (досл. ‘делать сушеный творог’) [БАМРС I, с. 298]; калм. *зөвәрн болх* ‘сойти в могилу’ (досл. ‘стать по правоте’) [КРС, с. 252]; бур. *үһан дээгүүр үрмэ байлгаха* ‘заговаривать зубы’ (досл. ‘образовывать пенки на воде’) [БРС, с. 484]. В семантическом плане идиомы неделимы, т.к. слова, входящие в их состав не обладают признаками семантической отдельности. Для уточнения структурно-семантических типов Г.Ц. Пюрбеев предложил внутривидовую дифференциацию фразеологизмов по следующим признакам:

а) степень семантического отклонения компонентов фразеологической единицы от их прямых значений;

б) степень лексикализации фразеологизмов;

в) степень мотивированности значения фразеологизма;

г) степень сочетаемости слов-элементов фразеологического сочетания.

По этим свойствам он разделил идиомы на три типа: идиомы I степени, идиомы II степени и идиомы III степени [2, с. 54].

Специфика смысловой структуры идиоматического сочетания отчетливо обнаруживается при сопоставлении его с другими типами соединений слов, в частности, со свободным сочетанием слов, совпадающим с идиомой по лексико-грамматическому составу. Любое двучленное сочетание полнозначных слов (если в его составе нет, безусловно, однозначных слов) представляет собой системный семантический контекст, т.е. такое соединение, в котором один из членов является семантически реализуемым словом, а другой член – ключевым, или указательным, словом, актуализирующим то или иное значение семантически реализуемого слова.

Рассмотрим группу сочетаний слов, в которых семантически реализуемым словом выступает имя существительное *хөл* ‘нога’. Слово *хөл* многозначное, в зависимости от состава указательного минимума в нем вычленяются различные значения (лексико-семантические варианты).

Прямым, номинативным значением существительного *хөл* ‘нога’ является лексико-семантический вариант ‘одна из двух или две нижние конечности человека’. Он реализуется в структурно-семантических моделях «субъект – объект – действие », «субъект – действие», «атрибут – объект (или субъект)». В первом случае в качестве субъекта выступает широкий круг одушевленных или неодушевленных имен существительных, действие которых переходит на объект, обозначенный словом *хөл* ‘нога’: *Бямб хөлөө шархдуулав.* ‘Бимба поранил ногу’. Во втором случае в виде субъекта выступает предмет, названный существительным *хөл* ‘нога’; действие, исходящее из этого предмета, как правило, непереходное: *хөл минь өвдөнө* ‘мои ноги болят’, *хөл нь хавагнажээ* «его ноги отекли». В третьем случае существительное *хөл* ‘нога’ может быть в позиции как субъекта, так и объекта: *майга хөл* ‘кривые ноги’, *бүдүүн хөл* ‘полные ноги’.

Другое номинативное значение лексемы *хөл* ‘лапа или лапы животного’ реализуется в окружении ключевых слов, обозначающих животных: *нохойн хөл* ‘лапа собаки’, *морины хөл* ‘нога лошади’.

Указательный минимум, актуализирующий у имени существительного *хөл* ‘нога’ значение ‘ножка, ножки стола, стула и т.п.’, состоит из имен существительных, обозначающих большей частью предметы, имеющие опоры в виде ножек: *буугны хөл* ‘ножки ружья’, *гүүрний хөл* ‘быки моста’, *ширээний хөл* ‘ножка у стола’.

В сочетании с некоторыми словами и глаголами слово *хөл* ‘нога’ выражает значение ‘движение; суматоха; суета’: *гудамжны хөл* ‘уличное дви-

жение', *хөл болох* 'суетиться, метаться', *хөл үймээн* 'суматоха, смута', *дайны хөл* 'суматоха, паника, вызванные войной'.

В лексико-семантическом плане каждое из приведенных сочетаний слов представляет собой двучленное сочетание слов, между компонентами которых наблюдается четкое распределение семантических функций: один из них (*хөл* 'нога') – семантически реализуемое слово, другой – указательное слово, т.е. каждое сочетание – это семантический контекст. С точки зрения лексико-семантической организации, приведенные словесные соединения – это словосочетания, т.е. сочетания слов, образованные на основе подчинительной связи одного компонента с другим.

Поскольку семантические контексты образуются в соответствии с синтаксическими моделями словосочетаний и предложений, постольку грамматические отношения между компонентами накладываются на их семантическую связь, хотя грамматические отношения не всегда совпадают с отношениями семантической зависимости одного члена семантического контекста от другого.

Возьмем идиоматическое соединение *хөл хүнд* [БАМРС IV, с. 132] в значении 'беременная, беременность' (досл. нога тяжелая). Оно возникло в результате метонимического переноса семантики словосочетания *хөл хүнд* 'тяжелая нога'. В данном словосочетании *хөл хүнд*, на почве которого возникла упомянутая идиома, функционально четко противопоставлены две семемы, каждая из которых непосредственно связана с отдельным фрагментом реального мира, а в сочетании в целом выражается связь между семемами, в которой отражается отношение между фактами действительности. В ряду указательных слов, реализующих лексико-семантический вариант 'нога, ноги, лапа, лапы, конечности' *хөл* 'нога', наряду с *хүнд* 'тяжелый' (*хөл хүнд*), могут быть и другие прилагательные, характеризующие названный предмет с разных сторон: *хөл сайтай* 'с крепкими ногами', *хөл нүцгэн* 'босоногий' и т.д. Стабильность значения семантически реализуемого слова *хөл* 'нога' и при изменении состава указательных слов еще раз подтверждает вывод о семантической членимости синтаксических сочетаний слов.

В идиоме *хөл хүнд* 'беременная, беременность' именной компонент *хөл* не реализует приведенные значения этого слова, равно как имя прилагательное *хүнд* не выражает ни одно из своих значений, зафиксированных в словарях. Это связано с тем, что определенное сочетание слов (к примеру, *хөл хүнд*), будучи отражением некоего явления, переносится на другое явление и становится его названием. Однако отметим, что перенос значения имеет место лишь при определенных условиях. В данном случае произошел перенос значения по связи, когда такой яркий признак явления (беременности), как неповоротливость, неуклюжесть выступает в качестве названия всего явления. Так происходит процесс смыслообразования. Компоненты сочетания *хөл хүнд*, обозначая новое явление, лишаются актуаль-

ности, подвергаются десемантизации и только всем составом выражают значение нового явления. Для идиомы *хөл хүнд*, как и для любых других единиц этого типа, нехарактерно распределение семантических функций между компонентами. Другими словами, в отличие от фразем и свободных словосочетаний в идиомах нельзя выделить ключевых и реализуемых слов. В этом смысле компоненты идиомы имеют равные права, поскольку они только всем своим составом выражают какие-либо понятия. Причиной такого «равноправия» является семантическая целостность, которая представляется одним из основных характерных признаков идиом.

Семантической целостностью, в свою очередь, обусловлены другие немаловажные свойства идиоматических сочетаний: отсутствие у компонентов внутри идиомы парадигматических и синтагматических свойств, застывшие грамматические отношения между компонентами идиом, индивидуальный характер значения.

Рассмотрим отсутствие парадигматико-синтагматических свойств внутри компонентного состава идиом путем сравнения компонентов идиоматического сочетания монг. *хагархай хэнгэрэг* ‘болтун’ (досл. разбитый барабан) [БАМРС III, с.11] с компонентами переменного словосочетания *хагархай хэнгэрэг* ‘разбитый барабан’. В переменном сочетании каждый компонент может свободно вступать в смысловые отношения с другими словами: *хагархай хэнгэрэг* ‘разбитый барабан’ – *бүтэн хэнгэрэг* ‘целый барабан’, *хагархай хэнгэрэг* ‘разбитый барабан’ – *хагархай дамар* ‘разбитый бубен’. В отличие от составных частей свободных сочетаний, составляющие идиом не могут вступать в парадигматические отношения с другими лексическими единицами. Семантическая целостность идиом не допускает замены компонентов устойчивого сочетания, которая приводит к разрушению смысла идиомы. Так при замене компонента *хагархай* на синонимичный *цоорхой* словосочетание *цоорхой хэнгэрэг* имеет сходное дословное значение ‘дырявый барабан’, но уже не является идиомой. В составе идиомы ее компоненты лишены синтагматических признаков, характерных для свободных сочетаний слов. Компоненты рассматриваемой идиомы *хагархай хэнгэрэг* каждый в отдельности не могут сочетаться с другими словами. Идиома, являясь неделимой единицей языка, лишь всем компонентным составом может вступать в какие-либо отношения с другими единицами языка. Например: *Манай Батэрдэнэ ёстой хагархай хэнгэрэг шүү* – ‘Наш Батэрдэнэ настоящая трещотка’.

Компоненты идиом уже не являются словами, имеющими свои собственные лексические значения и обозначающими какие-либо явления или понятия. Отсутствие парадигматико-синтагматических характеристик между компонентами идиом напрямую связано с этим явлением. Компоненты идиомы настолько тесно связаны, что только всем своим составом они номинируют факты действительности. Другими словами, идиомы характеризуются функцией совместной номинации.

Кроме того, в идиомах не выражены живые грамматические отношения между компонентами, поскольку они (компоненты) уже не соотносятся с явлениями действительности, утратили свойственное им значение и знаковую функцию. Идиомы внешне все же совпадают с переменными словосочетаниями, но между компонентами идиом нет живых логико-грамматических отношений, т.е. грамматические отношения между составляющими идиом можно назвать застывшими.

Составной частью фразеологического значения является категориальное, или грамматическое, значение. Грамматическое значение определяет принадлежность идиом к лескико-грамматическим категориям слов (субстантивные, глагольные и т.д.). Показателями грамматического значения в идиомах (равно как и во фраземах) являются стержневые компоненты данных фразеологизмов, в большинстве случаев совпадающие с главными словами свободных словосочетаний, к примеру: бурятская идиома *шорой-до дарагдаха* ‘умереть’ (досл. быть заваленным землей) [БРС, с.187] соотносима с глаголами по категориальному значению.

Итак, идиоматическому сочетанию можно дать следующее определение: идиоматическое сочетание (идиома) – это семантически несвободное сочетание слов, воспроизводимое в речи в виде готовой единицы, характеризующееся семантической слитностью, устойчивым соотношением определенного значения и лексико-грамматического состава, застывшими межкомпонентными грамматическими моделями и принадлежностью по грамматической функции к определенной лексико-грамматической категории слов.

Литература

1. Бертагаев Т.А. Об устойчивых фразеологических выражениях // Сборник трудов по филологии. – Улан-Удэ, 1949. – Вып. 2. – С. 64-119.
2. Пюрбеев Г.Ц. Глагольная фразеология монгольских языков. – М.: Наука, 1972. – 208 с.
3. Төмөрцэрэн Ж. Монгол хэлний үгийн сангийн судлал. Улаанбаатар: БНМАУ ардын боловсролын яамны хэвлэл, 1974. 164 х.

Источники

1. Большой академический монгольско-русский словарь (БАМРС): в 4 т. Ок. 70000 слов. – М.: Academia, 2001.
2. Калмыцко-русский словарь (КРС) / под ред. Б.Д. Муниева. 26000 слов. – М., 1977. – 768 с.
3. Черемисов К.М. Бурятско-русский словарь (БРС). 44000 слов. – М., 1973. – 803 с.

Бадмацыренова Надежда Бадмажаповна, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры языков коренных народов Сибири Национально-гуманитарного института Бурятского государственного университета. E-mail: nadya_dambayeva@mail.ru

УДК 81'37+811.161.1:811.512.31

© *Е.А. Бардамова*

Семантика *начала* и *конца* в русском и бурятском языках

В статье анализируется языковые средства выражения семантики предела в пространстве в концепции бурятской языковой картины мира. В центре внимания факты языка, отражающие сложный комплекс идей и представлений о начальном и конечном в пространстве. Особое внимание уделяется интерпретации когнитивных метафор.

Ключевые слова: репрезентация знаний в языке, восприятие, понимание и категоризация конечного и начального в пространстве, сегментация и семантизация пространственных фрагментов.

E.A. Bardamova

The semantics of *beginning* and *end* in Buryat and Russian languages

The article analyses linguistic vocabulary on definition of the peculiarities of the concept *Beginning* and *End* in the Buryat Linguistic Picture of the World. These categories are realized by different means on different levels of the language system. In the centre of the investigation there are language facts that reflect complicated set of ideas and notions of perception and reflexion of category of *Beginning* and *End.* Special attention is paid to the space methafors.

Keywords: knowledge representation in language, perception, understanding and categorization of the final b initial in space, spatial segmentation and semantization fragments.

В осмыслении и концептуализации пространства важнейшее значение имеет понятие границы. По мнению отечественных лингвистов, граница является одной из составляющих наивной геометрии [1; 2; 3]. Так, Н.Д. Арутюнова выделила референтную точку в понятии «начало-конец» – межу, которая входит в разные денотативные пространства. «Линия – простейшее и в идеале одномерное понятие – маркирует переход из мира природы к его геометризованной модели» [1, с. 6]. По Н.Б. Мечковской, начало и конец выступают конструктами обыденного сознания, результатом широкого обобщения и высокого абстрагирования, исторически первой системой координат [4, с. 109]. Пространственную упорядоченность и выявление конечного или начального элемента Н.Ф. Спиридонова определяет с точки зрения расположения относительно говорящего. А.Д. Шмелев [5], Т.А. Майсак [6], Ферм [7, с. 53-55] отмечали ассиметрию начальной и конечной точек движения, справедливо рассматривая конечную точку коммуникативно более значимой. Для объективации начального и конечного пунктов в русском языке используются приставочные глаголы, задающие особый способ концептуализации [5, с. 181-194]. При изучении семантического поля *конца* В.Г. Гак придерживался выполнения двух процедур: анализа взаимодействия с другими полями и определения внутренних оппозиций, образующих структуру *начала* и *конца*. Анализируя дейктические элементы в семантике глаголов движения, Е.В. Падучева приходит к выводу, что зачастую отсутствие русских глаголов предложной группы, выра-

жающей конечную точку, интерпретируется как сигнал того, что конечная точка задана местонахождением наблюдателя: *'Иван пришел сюда'* [9, с. 126].

Предел в пространстве в бурятском языке позволяет разделить его на сегменты в четком соответствии с особенностями чувственного восприятия, на котором основывается их семантизация, например: *голой адаг* 'устье реки' *(букв.* конец реки), *хүбөө* 'край, кромка', *хэмтэ газар* 'предельный, конечный пункт', *газарай заха* 'глухомань, отдаленное место', *мүрэнэй эхин* 'исток реки', *баруун хизаар* 'запад' (*букв.* западный предел), *хилын саана* 'за рубежом'. С помощью границ физических предметов носитель языка определяет место объекта в пространстве: *түрүү ябадаг* 'быть в авангарде' *(букв.* впереди идущий), *захын айл* 'крайний дом', *мухардаха* 'оканчиваться тупиком', *хадын орой* 'вершина горы', *хэмтэ газар* 'конечный пункт', *модоной үзүүртэ* 'на верхушке дерева', *эрьеын хүб-* 'побережье', *захаһаа абаһаар* 'сплошь, отовсюду'. Оппозицию *начала* и *конца* часто используют для идентификации того или иного явления, не прибегая к описанию его отличительных признаков: *эхи татаха* 'положить начало', *мухар харгы* 'конец дороги', *гүн оёор* 'бездна, пучина', *онгосын һүүл* 'корма лодки' (*букв.* конец лодки), *хизаарлагдаха* 'определяться пределами', *туйлдаа хүрэхэ* 'дойти до предела', *тугэсэхэ* 'завершаться', *шэгшэг* 'конец, край, частица', *ойн захада* 'на опушке леса' *(букв.* на краю леса*)*, *сэгнэхэ* 'оценивать' (*букв.* определять границы чего-либо).

В репрезентации семантики пространственного предела участвует совокупность языковых средств, среди которых представлены лексические, фразеологические, словообразовательные, грамматические средства.

Предметом исследования послужили лексические единицы. В лексико-семантическом поле предела представлены существительные: *эхин, мухар, мүлшэ, орой, сэг, һүүл, туйл, тугэсхэл, үзүүр, унги, хизаар, хилэ, заха, адаг, сээл, гүн, хүбөө, шэгшэг, эсэс;* прилагательные: *туйлай, түрүү, захын, хизаарай, адагай, хилын, хизаартай, түрүүшын, һүүлшын, туйлай, эсэсэй, алас, анха, эхинэй;* глаголы: *һүүлтэхэ, эсэслэхэ, эхилхэ, мухардаха, туйлаха, тугэсэхэ, үндэһэжэхэ, хизаарлаха, хилэлхэ, захадань гараха, адаглаха, адагтаха, һүүл боохо, бүтээхэ, буураха, хүрэхэ, дүүргэхэ, бараха, барууллха, гараха, түрэхэ, унгэрхэ, барантаха, захалха, түрүүлхэ, гүйдэлдөө орохо* и др., послелоги: *эхеэр, һүүлдэ, захада, эсэсээр, түрүүндэ, эхилтэр,* наречия: *мүлшөөр, һүүлээр, туйлай, түрүүн, түрүүнхи, түрүүшэг, түрүүшээр, захааа,* фразеологические обороты: *дабаан дээрэ* 'момент, непосредственно предшествующий наступлению чего-либо' (*букв.* на горе), *саана орохо* 'удаление за пределы чего-либо', *нохойн дуун ойртоо* 'дело идет к концу', *эхинээнь һүүл хүрэтэр* 'от начала до конца', *һүүл боохо* 'завершить' *(букв.* конец закрыть*)*, *уг таһа* 'вконец' и др.

По данным бурятского языка, слова с семантикой *начала* и *конца* образуют оппозицию, в которой противопоставленность формирует суждение о целом, где начало и конец выступают как части единого неделимого про-

странства. Так, фраземы *оройһоонь ула хүрэтэр* ‘от начала до конца’ *(букв.* от макушки до подошвы), *үзүүрһаань үзүүр хүрэтэр* ‘от начала до конца’ *(букв.* от кончика до кончика), *эхинээ адаг хүрэтэр* ‘от начала до конца’ передают наивные воззрения носителей языка о целом как о совокупности двух исходных основ.

Для представлений о начальном и конечном, основанных на структуризации пространства с использованием семантики предела, точкой отсчета границ выступает позиция самого говорящего. В этом случае конец понимается максимально удаленным пределом в пространстве или местом на поверхности предмета, чем большее расстояние отделяет наблюдателя и наблюдаемый предел, тем очевиднее вероятность абсолютного конца. Значительную дистанцию от говорящего до называемого объекта демонстрируют: *газарай мухар* ‘край земли’, *заха газар* ‘отдаленное место’, *далайн сээл* ‘морская пучина’, *столой шэгшэг* ‘краешек стола’, *заха хизаарта хүрэхэ* ‘достичь края’, *алад холын* ‘удаленный’, *заха булан* ‘захолустье’, *һүүлшын вагон* ‘последний вагон’, *алас хойто зүг* ‘дальний север’.

У других слов реализуется актуальное значение ‘предел, отделяющий протяженность объекта’. Концом воспринимается та часть поверхности, которая прилегает к этому пределу и представляет его край, например: *харгын хүбөө* ‘край дороги’, *тон һүүлһээ* ‘с самого конца’, *хургануудай үзүүр* ‘кончики пальцев’, *үзүүртэй* ‘имеющий конец’, *горхоной захаар* ‘по берегу ручья’, *хадын орой* ‘вершина горы’, *шэгшэг дээрэ* ‘на краешке’, *аягын хүбөө* ‘края чашки’, *сабшаһан хирхаг зурына* ‘выделяется кромка покоса’, *буугай үнсэг* ‘угол приклада ружья’, *талмайн дүрбэн үнсэг* ‘четыре края площади’, *далайда харахада, холо байдаг* ‘когда смотришь на море, оно непроходимо далекое’ (*букв.* когда смотришь на море, предел, который надо достичь, очень далеко находится). Как видим, зачастую при этом природные объекты, реально не имеющие конца, языковое сознание наделяет свойством предельности. К таким номинациям можно отнести следующие случаи: *газарай гүнзэгы руу* ‘в глубь земли’, *талын захада* ‘на краю степи’, *тайгын оёорто* ‘в глубине тайги’ (*букв.* на дне тайги), *газарай заха* ‘край земли, глухомань’.

Понятие *конца* ввиду своей абстрактной ментальной сущности может объективироваться путем вторичной номинации и репрезентироваться в языке при помощи метафоры, которая отражает понимание данной категории. Так, в осмыслении *предела* в бурятском языке участвует метафора вершины или бездны: *хадын орой* ‘вершина горы’, *сээл нухэндэ* ‘в глубокой яме’, *гүн газар* ‘глубь земли’, *модоной үзүүртэ* ‘верхушка дерева’, *гүн ехэ шэлын үбэр орохо* ‘взобраться на самую вершину хребта’, *хярын орой* ‘гребень горы’ и др. При использовании переноса актуализируется сема меры и пространственных границ объектов, фиксируется их удаленность. Это не столько свидетельство пространственного размера, сколько подтверждение максимального расстояния до него по вертикали, в данном случае значи-

тельная дистанция формирует идею предела. Количественный компонент величины, размера, подвергающийся оценке, помимо указания на конечную точку чего-либо протяженного развивает у названных слов способность выступать в качестве основания для измерения расстояния в пространстве: *Арбан гурбан һарьдагые алад гаража талиида һэн ха* [Х. Намсараев] ‘тринадцать гольцов бывало преодолевал’.

Для выражения семантики *конца* используется метафора результата. Конец предполагает завершение описываемой ситуации, в результате которого и достигается искомая цель, в таком значении выступают в основном глаголы, большинство из которых обозначает результативное целенаправленное действие: *эсэстэ хүрэтэр* ‘довести до конца’, *туйлаха* ‘достигать, добиваться, преодолевать’, где *туйл* – конец, предел, *тугэсэхэ* ‘заканчиваться, завершаться’, *захадань гараха* ‘приблизиться к завершению’, *адаглаха* ‘доходить до конца’, *һүүл боохо* ‘завершить’ (*букв.* хвост завязать), *хүрэхэ* ‘достичь’, *дүүргэхэ* ‘закончить’, *бүтээхэ* ‘выполнить’ и др. Под *концом* подразумевается такое положение, которое было запланировано и явилось естественным итогом какой-либо деятельности. Эту модель можно считать динамической разновидностью пространственной метафоры.

В рамках метафоры результата находятся контексты с глаголами *маһарха* ‘прекращаться’, *хатаха* ‘высохнуть, перестать’, *буураха* ‘утратить’, *бараха* ‘закончить’ и др., имплицирующими значение предела: *маһархай холо газар* ‘глухомань’ (*букв.* оторванное далекое место), *урагшаа хатаһан хэрэг* ‘бесперспективное дело’ (*букв.* вперед высохшее дело), *маряагаа буураха* ‘утратить прежний объем’, *хээли бараха ‘спадать с тела’*. Конец как результат в данном случае сочетается со следующими смыслами: ‘неуспех’, ‘ущерб’, ‘болезнь’ и даже ‘смерть’.

Как видим, глаголами используется особый способ концептуализации конца – динамическая модель пространственного предела, основанная на метафоре *движения,* например: *эсэстэнь хүргэхэ* ‘довести до конца’, для глагольных контекстов характерно указание на достижение заявленной точки.

Конечную точку перемещений или территорию, прилегающую к ней, обозначают локативы, выраженные в форме дательного или винительного падежа, например: *түрэлхидтөө тараха* ‘разъехаться по родственникам’, *нютагтаа дүтэлхэ* ‘приближаться к родным местам’, *саада эрьедэ хүрэхэ* ‘доплыть до противоположного берега реки’, *мүрэниие гаталха* ‘переплыть реку’, *ундэр добые дабажа гараха* ‘преодолеть высокую гору’, *хилэ дабаха* ‘перейти границу’. Для обозначения финишной черты используются послелоги *хүрэтэр* и *туласа*, мотивированные глаголами *хүрэхэ* ‘достичь, дойти’ и *тулаха* ‘доходить’, вместе с дательным падежом имени существительного указывающие на границу распространения действия: *далайда хүрэтэр намнаха* ‘преследовать до самого моря’, *гэртэнь хүрэтэр хүргэхэ* ‘проводить до самого дома’, *нуур туласа сабшаха* ‘выкосить все до озера’, *хүүргын туласа* ‘вплоть до моста’. На неопределенный ориентир предела

указывают послелоги *тээшээ* + существительное в исходном падеже, денотативно синонимичны им контексты с *уруу*. Словосочетания с *тээшээ* называют место, по направлению к которому совершается передвижение, а с *уруу* – направление по горизонтальной поверхности внутрь отдаленной местности, например: *шандаганиинь баруун тээшээ арилшоо* ‘заяц исчез в западном направлении’, *уһанай заха тээшэ* ‘к берегу’, *Байгал далайн тээшэ урдаха* ‘течь в Байкал’, *ой уруу талииха* ‘скрыться в лесу’, *бургаahан руу тэрьелхэ* ‘убежать в кусты’.

Для реализации идеи предела в бурятском языке эксплуатируется метафорическая модель тупика. *Мухар* ‘тупик’, предполагающий отсутствие сквозного прохода, обозначает конечную точку передвижения по ассоциации с окончанием, остановкой, прекращением движения или изменением его направления, поэтому и выступает его символическим концом: *мухар үйлсэ* ‘конец, тупик улицы’, *мухардаха* ‘оканчиваться тупиком’, *түйлдаха* ‘доходить до предела возможного’, *газарай мухарта* ‘в глуши’ (*букв.* на краю земли), *адаг һуури* ‘последнее место *(неодобр.)*’, *адаглаха* ‘доходить до конца, закончить’, *адагтаха* ‘занимать последнее место’, *хэмтэ газар* ‘предельный пункт’. Близость понятий тупика и конца привела к развитию характериологического оценочного значения со знаком минус, которое указывает на исчерпанность жизненных, личностных, нравственных сил: *адаг тэнэг* ‘глупый’, *адагай адаг* ‘худший из худших’, *адагтаха* ‘заболеть’, *хэмтэ газар* ‘место погребения’ и др. В этой же семантической функции выступает *буглуу* ‘закрытый, глухой’: *Нэгэ буглуу нюуса булан соohоо ара гэзэгээ тээшээ хараһан зүргэ борохон харгыгаар...* [Х. Намсараев].

Денотативно синонимичное пространство обозначают локативы, воспроизводящие идею угла, где под углом понимается отдаленное, глухое место, предел: *булан тохой* ‘край земли’, *газарай буланда* ‘в глуши’, *заха булан* ‘захолустье’, *талын буланда* ‘на краю степи’, *алишье буланһаа* ‘со всех концов’, *заха булангай* ‘захолустный’, данная вторичная номинация имеет место и в русском языке: *таежный угол, в глухом, деревенском углу, дрянной угол, медвежий угол.* Наращение смысла ‘находящийся в глуши’ стало возможным благодаря наличию в семантической структуре компонента ‘часть пространства, ограниченная двумя стенами’, которая переосмысливается как часть пространства, находящаяся на рубеже → на границе → близко к краю → на краю местности → в тупике. Метафора угла представляет собой одну из разновидностей метафоры тупика.

Среди распространенных концептуальных метафор, используемых для вербализации абстрактных сущностей и материальных предметов в бурятском языке, наиболее продуктивной является зооморфная метафора, с помощью которой актуализируется семантика размера, величины, различной качественной и количественной характеристики описываемого объекта. При помощи зооморфизмов кодируется конечная часть пространственного объекта. Значение существительного *һүүл* ‘конец’ обусловлено внутренней

формой слова, в своем основном значении *һүүл* – ‘хвост (животного)’. Наращение смысла произошло в результате того, что обыденное языковое сознание усмотрело перцептивное соответствие между ‘конечной частью тела животного’ и абстрактным понятием *предел*. Этот процесс нашел отражение во фразеологизме *һүүл боохо* ‘завершить дело’, дословный перевод которого звучит как ‘завязывать хвост’, а также в наречии *тон һүүлһээ* ‘с самого хвоста’ → ‘с самого конца’, в прилагательном *һүүлэй* ‘хвостовой’ → ‘последний’. В основе метафоризации лежит «ощущение подобия (или сходства) формирующегося типового образа и некоторого в чем-то сходного с ней «конкретного» образно-ассоциативного представления о другой реалии» [Телия, 1996, с. 137].

Для обозначения разделения и установления границ применяется соматизм *можо* ‘бедренная кость’, который в результате переосмысления развивает новые значения ‘группа’, ‘область’, ‘кучка’, ‘группировка’: *Можо боложо, аймаг аймагаараа мүрысэдэг ёһо байгаа гэжэ ойлгуулба* ‘объяснил, что проводили соревнование, разделившись по аймакам’ [Ц-Б. Бадмаев] (цит. по: Крат. толк. словарь). Известно, что человеческое тело является первым и самым распространенным мерилом всех материальных и нематериальных сущностей. При помощи соматического кода в языковой картине мира обозначаются представления носителей языка о структуре, параметрах и сути явлений окружающей действительности. Среди соматизмов, демонстрирующих универсальные свойства и представленных во многих языках мира, выделяются части тела человека, а точнее, их вертикальное расположение, способное в рамках вторичной номинации обозначать размер, форму, расположение в пространстве, родство, функцию, положительную или отрицательную аксиологию, такие как *голова, макушка, рука, сердце, ладонь, пятки, ступни* и пр. Так, *голова* как самая верхняя часть физических форм человека используется в языке для кодирования верхней или передней исходной точки пространственных объектов, а глагольные производные от существительного *толгой,* помимо всего прочего, способны актуализировать сему ‘направление движения’: *уулын толгойдо* ‘на вершине горы’, *толгойн харгыгаар* ‘по дороге через хребет’, *онгосын толгой* ‘нос лодки’, *сомоо толгойлхо* ‘вершить копну сена’, *зүүн тээшэ толгойлхо* ‘направляться на восток’. К национально-специфическим и весьма продуктивным для бурятского языка можно отнести соматизм *яһан* ‘кость’, употребляемый для указания на принадлежность к одному этносу: *ондоо яһанай* ‘другой национальности’; принадлежность к какому-либо роду: *ямар яһанайбта* ‘из какого вы рода?’ (*букв.* из какой кости вы будете?); на весь человеческий организм: *яһа уһамни убдэнэ* ‘все тело болит’, *яһаа амарха* ‘заслужить покой’, *яһа гараха ‘выбиться из сил’*; на степень упитанности: *арһа яһан ‘кожа да кости’*; на преклонный возраст: *умхи яһан ‘старые кости’* и даже смерть: *яһаа хаяха ‘умирать’*; на душевное состояние: *яһаа ябтайха* ‘беспокоиться о ком-либо’, *яһынь гаргаха* ‘вымотать

душу', *яһынь дайруулха* 'задевать за живое'; прочность материала, из которого сделано изделие: *яһатай буд* 'крепкая ткань'; на особенности строения тела: *нарин яһатай* 'стройный', *бухэ яһатай* 'крепкий'; участвует в номинации предметов, имеющих твердую оболочку: *жэмэсэй яһан* 'косточка плода', *һамарай яһан* 'скорлупа ореха' и др. Особенность отдельной кости как составной части скелета представлять часть целого послужила источником кодирования объектов окружающего мира, рассматриваемых в плане части и целого. В таком аспекте употребляются и лексема *можо* 'группировка, кучка', сема предела, которая стала возможной в результате действия процесса отделения части от целого.

В рамках данной семантической модели находятся лексемы *тээлниг* 'огороженное место для пастьбы телят', *хаамаг* 'загородка', *хашаа* 'ограда, двор, загон для скота', *хорёо* 'изгородь, поскотина, загон', *бүлэг* 'группа, кучка', актуальное значение которых содержит идею предела, они мотивированы соответственно с глаголами *тээглэхэ* 'запирать на засов, ставить перекладину', *хааха* 'закрывать, загонять, преграждать', *хашаха* 'припирать, загонять', *бүлэглэхэ* 'разделять на части'. Действие процесса отделения позволяет языку выделить часть пространства, придать ему статус самостоятельности, заявить о его целостности, подвергнуть семантизации, границами таких интервалов пространства выступает ограда или изгородь.

Обнаруживаются единичные метафоры, не являющие признаков закономерности, но обнаруживающие особенности процесса осмысления понятия *предел*. К таким относится использование идеи *острие* для обозначения *конца,* например в таких выражениях: *үзүүр* 'кончик, острие', *үзүүр үзүүргүй* 'без края и без начала' *(букв.* конец без острия*), узуурһаань үзүүр хүрэтэр* 'от начала до конца' (*букв.* от конца до острия), *заха үзүүргүй* 'без конца и без края', *нюдэнэй үзүүртэ* 'вдали' (*букв.* на кончике глаза), *үзуураар һууһан* 'живущие по окраине' (*букв.* живущие на острие). За выражением *хаяа хадхажа һууха* 'жить по соседству' (*букв.* стену протыкать) также стоит метафора *острие,* на это указывает глагол *хадхаха* 'вонзать, втыкать'. Появление этой вторичной номинации восходит к тем временам, когда границу между живущими рядом помечали, воткнув в землю заостренный предмет.

Следует отметить, что метафора *острие* в бурятском языке обслуживает и второй член семантической оппозиции – *начало,* ср: *үзүүр үгы модондо* 'нет начала у дерева', *тайгын хүйтэн булагай үзүүр дээрэнь түрэһэнби* 'родился у истока холодного таежного родника' *(букв.* у начала таежного холодного родника я родился). Синкретизм данных понятий на начальном этапе их осмысления находит продолжение в употреблении *ород* в значении 'первый': ср.: *олоной ород, түмэнэй түрүү* 'передовой' *(букв.* первый из многих, десяти тысяч передовой), *ородһоонь ула хүрэтэр* 'от начала до конца' (*букв. от* верхушки до подошвы), *ородлхо* 'возглавлять, быть первым'. Выражение идеи *начала* через *вершину* представляет действие онто-

логической когнитивной пространственной метафоры, описанной Лакоффом и Джонсоном [11], согласно которой осмысление окружающего мира происходит в рамках антропоцентричного пространственного кода [12]. *Орой* 'вершина, макушка', как и все, что расположено в верхней части тела человека или возвышается над ним, наделяется наивным сознанием с положительной аксиологией и маркирует объекты, стоящие выше других в каком-либо отношении. В данном случае указывает на ведущую, передовую или находящуюся впереди, т.е. начальную, их часть. Наличие семы 'верхний', 'начальный' послужило основой семантической трансформации, в результате которой *үзүүр* стал употребляться для указания на высшую степень проявления признака: *үзүүр баян* 'очень богатый', *үзүүр үнгэ хагдан* 'обильный травостой'.

В обозначении исходной позиции в бурятском языке участвует и соматизм *ара* 'спина, задняя, тыльная часть', используемый для номинации части пространства или объекта, который выступает началом движения: *ара гэрhээн баруугшаа талиха* от крайнего дома на запад отправиться' (*диал.*), *ара талаһаа ерэхэ* 'приехать с тыльной стороны', *талын араһаа маряажа дутэлхэ* 'незаметно появиться с задней части степи' и т.д. Следует заметить, что данное актуальное значение лексемы стало возможным ввиду того, что в бурятской языковой картине мира основным способом ориентации человека в пространстве, при описании его местонахождения и передвижения на местности, является четкая система координат, согласно которой любой объект занимает неизменную позицию относительно сторон света, а именно: находится лицом к югу, спиной – к северу, справа – запад, слева – восток. Исходя из данной ориентационной схемы *ара* 'спина, задняя часть' всегда служит отправной точкой при перемещении на местности. Среди других соматизмов, кодирующих пространственные ориентиры, можно выделить *толгой* 'голова' и *магнай* 'лоб' как квалификаторы передовой, впереди идущей части объекта: *толгойлхо* 'возглавлять', *онгосын толгой* 'передняя часть лодки', *магнай сорог* 'передовые части войска', *манай сэрэгүүдэй магнайда ябаһан гвардейскэ полк* 'наш передовой гвардейский полк'.

Семантическое содержание исходного, начального ядра, на котором располагаются или укреплены другие его части, представлено *хормой* 'основание, подножие', например: *уулын хормойдо* 'у подножия горы'. В основном своем значении *хормой* обозначает подол одежды. В результате метафорического переноса, основанного на сходстве расположения относительно пространственной вертикали, формируется денотативное пространство, интерпретируемое как расположенное в нижней части данной вертикали, т.е в месте, предполагающем исход, рост или развитие, а значит, актуализирующем идею *начала*.

Тенденцию диффузности *начала* и *конца* находим во внутренней форме глагола *захалха* 'начинать', который мотивирован существительным *заха*

'край, конец'. В контекстах с *заха* обнаруживаем, что обыденное сознание рассматривает начало и конец в пространстве скорее как его части, достаточно удаленные от наблюдателя: *захаар ябаһан* 'пасущийся на окраине', *захаһаа абаһаар заха хүрэтэр* 'от начала до конца, сплошь', *заха үзүүртэнь гаргаха* 'довести до конца', *захын айлда орохо* 'войти в первый дом, крайний дом'. Как видим, четкой противопоставленности начальной и конечной точек не обнаруживается. Лингвисты не раз отмечали глубинное тождество *начала* и *конца*, которое зиждется на обыденном понимании целостности пространства, возможности совпадения начала и конца особенно на временной шкале [1, 4, 5].

Начальная точка в пространстве, обозначаемая лексемой *эхин*, по материалам языка актуализирует идею устойчивого установления, позволяющего вступить в силу, в действие, ср.: *эхин табиха* 'класть начало', *эхин татаха* 'начинать' (*букв.* тянуть начало), *эхи һуури 'основание' (букв.* начальное место), *баханын узуур* 'основание колонны', *модоной узуур* 'комель дерева'. В качестве начала, ассоциативно связанного с исходным территориальным положением, языком выбирается место, возможно, ассоциативно связанное с моментом, когда степняки приступали к обживанию сезонной стоянки с установления юрты и хозяйственных построек: *гэрнүүдэй һууринууд* 'основания, фундаменты домов' .

Семантика *начала* подразумевает указание положения, предшествующего всем другим подобным объектам: *эхинһээнь тоолохо* 'считать, начиная с первого', *эхин һургуули* 'начальная школа', *түрүү ябаха* 'идти впереди', *түрүү айл* 'предыдущий дом', *түрүүшын ээлжээндэ* 'в первую очередь', *анхан түрүү ерэһэн хүбүүн* 'мальчик, который пришел первым', *анхан үндэһэн* 'первоначальный корень', *анхан түрүүшын байра* 'первое жилье'.

В качестве метафорической модели начала часто выступает *корень* как символ источника роста и основание развития: *үндэһөө табиха* 'пускать корни', *үндэһэ үзүүр* 'начало, источник' (*букв.* корень, конец), *үндэһээжэхэ* 'вести начало, происходить', *үндэһэн эшэ 'начало, основа'.*

В глагольных контекстах начальная позиция рассматривается с точки зрения метафоры движения, в этом случае под началом понимается первая стадия развития действия или перемещения: *гүйдэлдөө орохо* 'сдвинуться с места', *уһанда орохо* 'войти в воду', *нютагтаа орохо* 'въехать в родные места', *хара далда орохо* 'исчезнуть из виду', *утын харгы алхамһаа эхилдэг* 'дальняя дорога начинается с первого шага'. Когда мы употребляем эти глаголы, исходное положение объекта имплицитно рассматривается как неподвижное, а состояние субъекта характеризуется бездеятельностью. Пространственный параметр говорящим чаще всего не обозначается, он подразумевается по умолчанию, важнее в коммуникативном плане указание на факт начала действия. Для указания начальной точки употребляется метафора открывания.

Отправная точка в пространстве, откуда начинается действие, в бурятском языке обозначается исходным падежом имени существительного,

данные локативы демонстрируют следующую семантическую парадигму: а) пункт, откуда начинается действие: *hургуулиhаа ябаха* ‘будет отправляться от школы’, *богоhоо абаад хэмнэхэ* ‘измерять начиная от порога’; б) указывает на пространственный объект, откуда начинается перемещение за его пределы: *уhанhаа гараха* ‘выйти из воды’, *эндэhээ арилха* ‘исчезнуть отсюда’; в) пределы границ, в которых происходит действие: *энэ захаhаа нүгөө жалгада хүрэтэр урилдажа ябаха* ‘будут соревноваться начиная от этой границы до следующей балки’; г) точка отсчета при определении нахождения других объектов: *hургуулиhаа хоёрдохи гэр ‘от школы второй дом’;* д) совокупность, откуда вычленяется отдельный предмет: *мяханhаа хэршэхэ* ‘отрезать кусок от мяса’; е) место, откуда происходят люди, о которых идет речь: *Монголhоо ерэhэн* ‘приехавшие из Монголии’, *баруун зүгэй хүдэр буряадууд* ‘с западной стороны кударинские буряты’; ж) объект как исходная стадия развития, в результате которого появляются новые качества: *утын харгы алхамhаа захалдаг* ‘длинный путь начинается с первого шага’, *зулзагаhаа шоно болодог* ‘щенок превращается в волка’.

На начальную точку перемещения указывают также контексты с послелогами: 1) *дээрэhээ,* соответствующий русскому предлогу *с, из* + сущ. в исходном падеже, например: *Орлик дээрэhээ ерээ* ‘приехал из Орлика’, *гэрэй орой дээрэhээ бууха* ‘спуститься с крыши’, *модон дээрэhээ буулгаха* ‘спустить с дерева’; 2) *дорохоо,* указывающий на место, из окрестностей которого что-либо появляется или начинает происходить: *газар дорохоо бии болохо* ‘появиться из-под земли’, *hүүл дорохоо гаргаха* ‘вытащить из-под хвоста’, *стол дорохоо шэрдэжэ эхилхэ ‘начать красить под столом’*; 3) *дундаhаа* ‘изнутри, из множества’: *манай дундаhаа нэгэн ошобо* ‘один из нас направился’, *хониной дундаhаа таргынь олоо* ‘выбрали самую упитанную из овец’, *hурагшадай дундаhаа нэгэниинь Москва ябахань* ‘один из школьников поедет в Москву’; 4) *соohоо,* употребляемый для обозначения места, откуда начинается действие: *амбар соohоо эхилээ* ‘началось с амбара’, *таhалга соohоо гүйжэ гараба* ‘выбежал из комнаты’, *уhан соohоо гаргажа байна* ‘вытаскивает из воды’; 5) *урдаhаа* + сущ. в Р.п., указывающие на пространственный объект, приступивший к совершению действия навстречу наблюдателю или говорящему: *миниий урдаhаа гэнтэ гараба* ‘вышел неожиданно мне навстречу’, или в направлении которого начали осуществлять передвижение: *айлшадай урдаhаа бидэ уулзахаяа ошобобди* ‘мы выехали навстречу гостям’. Следует еще раз отметить единую для всех динамическую пропозицию, фиксирующую отправную точку начала движения. Кроме того, для первого значения характерной является актуализация идеи верхней поверхности, с которой осуществляется движение вниз; для второго – кардинально противоположный смысл: перемещение вверх начинается из места, расположенного ниже позиции наблюдателя; третье и четвертое значения уточняют старт объекта, размещенного внутри чего-либо, пятое значение возможно в условиях динамической пропозиции для

объектов, движущихся навстречу друг другу.

Итак, лексические единицы описываемого семантического поля демонстрируют синкретизм, существовавший на начальной стадии развития данных понятий и нашедший отражение и в современном использовании лексем. Анализ языкового материала, участвующего в репрезентации пространственных идей начала и конца, позволяет сделать выводы о том, что семантика конца гораздо более продуктивна, чем у второго члена оппозиции – начала. Ментальная сущность данных понятий определила специфику его метафорических моделей представления. Идея *конца* актуализирует значение предела, намного отдаленного от участников коммуникации или прилегающего к этому месту пространства, выражается при помощи продуктивных метафорических моделей *результата*, *тупика*, *вершины* или *бездны*, *предела*, *зооморфизмов*. Понятие начала в пространстве связано с тем, что находится впереди, поэтому во вторичной номинации задействованы идеи *вершины*, *края*, *корня* в рамках растительной метафоры, *основания* или *установления*, в глагольных реализациях – *начальной стадии передвижения*.

Литература

1. Арутюнова Н.Д. Все про все // Логический анализ языка. Семантика начала и конца. – М.: Индрик, 2002. – С. 363-400.

2. Кубрякова Е.С. О понятиях места, времени и пространства // Логический анализ языка. Языки пространств. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 84-92.

3. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира: Модели пространства, времени и восприятия. – М.: Гнозис, 1994.

4. Мечковская Н.Б. Концепты начало и конец: тождество, антонимия, ассимилированность // Логический анализ языка. Семантика начала и конца. – М.: Индрик, 2002. – С. 109-120.

5. Шмелев А.Д. Из пункта А в пункт Б // Логический анализ языка. Семантика начала и конца. – М.: Индрик, 2002. – С. 181-194.

6. Майсак Т.А. Ассиметрия валентностей у глаголов движения: «русский вариант» // Труды международного семинара «Диалог` 99» по компьютерной лингвистике. – Таруса, 1999. – С. 27-36.

7. Ферм Л. Выражение направления при приставочных глаголах перемещения в русском языке. К вопросу префиксально-предложного детерминизма. – Acta Univ. Ups.: Studia Slavika Upsaliensia 27. – Uppsala, 1990.

8. Гак В.Г. Семантическое поле *конца* // Логический анализ языка. Семантика начала и конца. – М.: Индрик, 2002. – С. 50-55.

9. Падучева Е.В. Дейктические компоненты в семантике глаголов движения // Логический анализ языка. Семантика начала и конца. – М.: Индрик, 2002. – С. 121-136.

10. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М, 1996.

11. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. – М., 1990. – С. 387-415.

12. Подлесская В.И., Рахилина Е.В. Лицом к лицу // Логический анализ языка. Языки пространств. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 98-107.

Бардамова Екатерина Александровна, доктор филологических наук, зав. кафедрой русского языка Бурятского государственного университета. E-mail: bardam_k@mail.ru

УДК 81:39

© *Р.В. Бухаева*

Прецедентные имена как этноспецифические стереотипы языкового сознания бурят

В статье исследуются прецедентные имена как этноспецифические стереотипы языкового сознания бурят. Как известно, в исследовании специфики языкового сознания в малых социальных группах особое место занимает ассоциативный эксперимент. В частности, на основе проведенного ассоциативного эксперимента, была выявлена специфика структуры значений прецедентных имен у бурят, а также проведен анализ содержания компонентов ядра языкового сознания исследуемых ПИ.

Ключевые слова: языковое сознание, этноспецифические стереотипы, прецедентные феномены, прецедентные тексты, прецедентные имена (ПИ), структура ПИ, семантические гештальты, ассоциативный эксперимент.

R.V. Bukhaeva

Case names as ethnospecific stereotypes of language consciousness of Buryats

The article investigates case names as ethnospecific stereotypes of language conciousness of buryats. As it is known, in researching of specifics of language conciousness in small social groups the special place occupies associative experiment. In particular, on the basis of the provided associated experiment, was revealed the structure's specific of meaning of buryat's case names, and also was carried out the analysis of thew maintenance of components of a kernel of language consciousness of studied CN.

Keywords: language consciousness, ethnospecific stereotypes, case phenomenon, case texts, case names, structure of case names, semantic gestalts, associative experiment.

В настоящее время в связи с возросшим интересом к проблеме взаимоотношения языка и культуры возникают различные лингвистические направления: этнолингвистика, этнопсихолингвистика, лингвострановедение, лингвокультурология, объединяемые антропологическим аспектом исследования речевых явлений. В лингвокультурологии категория языкового сознания рассматривается, как отраженный в языке этноспецифический способ интерпретации мира, присущий тому или иному языковому сообществу. В языковом сознании, формируемом значением слов того или иного языка, содержится «национально-субъективный образ мира» и присущие ему «общенародные, стереотипные представления». В связи с этим, в исследованиях языкового сознания важное место занимают проблемы классификации культурно маркированных единиц и явлений. Так, например, актуальным в этнолингвокультурном аспекте является изучение таких единиц вербальной коммуникации, как: а) слова-этнореалии; б) прецедентные феномены, тексты; в) прецедентные имена (личные имена, фамилии знаменитых личностей, географические названия, литературные, музы-

кальные произведения и их герои, названия газет, журналов, музеев, театров и т.д.).

Прецедентными феноменами называется особая группа вербальных или вербализуемых феноменов, которые известны любому среднему представителю того или иного лингвокультурного сообщества и входят в когнитивную базу этого сообщества [1, с. 148]. Прецедентные феномены отражают в тексте национальные культурные традиции в оценке и восприятии исторических событий и лиц, мифологии, памятников искусства, литературы, произведений устного народного творчества [5, с. 149].

Выделяют четыре типа прецедентных феноменов: прецедентные ситуации, тексты, высказывания и имена. Прецедентным именем (ПИ) называется «индивидуальное имя, связанное или 1) с широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных, или 2) с ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная, 3) имя-символ, указывающее на некоторую эталонную совокупность определенных качеств» [1, с. 149].

Прецедентное имя обладает сложной структурой, «ядро которой составляют его дифференциальные признаки, апелляции к которым наиболее частотны, а периферию — атрибуты» [4, с. 198]. Ядро прецедентного феномена имеет горизонтальную структурную организацию: в нем также можно выделить центр и периферию. К центру относятся те компоненты инварианта восприятия, апелляция к которым постоянно наблюдается в коммуникации и которые первыми «всплывают» при восприятии, а к периферии — те компоненты, которые, «не будучи частотными, с точки зрения их использования в общении, позволяют однозначно и адекватно интерпретировать случаи апелляции к ним, если таковая имеет место» [4, с. 218]. Атрибутами ПИ называются некие «элементы», тесно связанные с означаемым ПИ, являющиеся достаточными, но не необходимыми для его сигнификации.

Указанное структурное устройство прецедентного имени определяет особенности его употребления и функционирования [2, с. 84]. Как отмечает В. В. Красных, прецедентное имя может функционировать либо как имя собственное, указывая непосредственно на денотат, в этом случае дифференциальные признаки ПИ оказываются нерелевантны; либо как имя прецедентное, т.е. употребляться в качестве «сложного знака», обладающего, помимо простого набора значений, некоторым инвариантом восприятия стоящего за именем «предмета». В этом случае имеет место апелляция к дифференциальным признакам прецедентного имени, составляющим ядро инварианта его восприятия [4, с. 202]. Однако в этом определении присутствует некоторая неоднозначность, поскольку не выделяется разница между именем собственным как таковым и прецедентным именем в функции имени собственного. Более последовательной, на наш взгляд, выглядит позиция Д.Б. Гудкова, который эту же двойственность функционирования прецедентных имен выразил другими терминами. В рамках этой концеп-

ции прецедентные имена подразделяются на те, которые функционируют денотативно (экстенсионально), т.е. именуют предмет, указывая непосредственно на денотат, и те, которые функционируют коннотативно (интенсионально), т. е. используются для характеристики объекта [1, с. 146].

Также примечателен тот факт, что прецедентные имена способствуют консолидации, сплочению этноса, так как именно общность стоящих за ними представлений и связанных с ними оценок служит осознанию членами некоторой социальной группы своего единства. Поэтому нередко политики, СМИ стараются сформировать подобные единые представления, активно используют их в своих попытках воздействовать на массовое сознание людей. Кроме того, если реальное лицо обозначается прецедентным именем, то ему не только приписывается определенный комплекс характеристик, но и задается модель поведения в соответствии с сюжетом, воплощенным в прецедентном тексте и / или в прецедентной ситуации. Вместе с тем наблюдаются определенные национальные различия в употреблении прецедентных имен.

В связи с вышеизложенным, интересным представляется выяснить прецедентные имена бурятской культуры, бытующие в языковом сознании современных бурят. Следует подчеркнуть, что все рассмотренные ниже прецедентные имена относятся к высокому уровню прецедентности, поскольку это национально-прецедентные имена.

В нашем исследовании с целью выявления национально-прецедентных имен в ассоциативных реакциях представителей бурятского этноса был проведен свободный ассоциативный эксперимент (САЭ). Как известно, ассоциативный эксперимент является одним из наиболее эффективных способов исследования стереотипов языкового сознания и его национально-культурной специфики, так как он позволяет изучать различные связи между словами и механизмы вербальной памяти. Он выступает инструментом представления образов сознания носителей разных языков. Получаемое в результате проведения такого эксперимента ассоциативное поле того или иного слова-стимула – это не только фрагмент вербальной памяти человека, но и фрагмент образа мира того или иного этноса, отраженного в сознании среднего носителя той или иной культуры, его мотивов и оценок и, следовательно, его культурных стереотипов [6, с. 52]. Именно посредством ассоциативного эксперимента мы решаем одну из главных задач настоящего исследования, которая заключается в выявлении прецедентных имен в языковом сознании бурят.

Выборка стереотипов проводилась двумя способами:

1. Первичное анкетирование (апрель–сентябрь 2009 г., кол-во опрошенных – 86 чел.) позволило нам сделать сплошную выборку по словам, связанным с бурятской действительностью (стимул-реакция), первых, наиболее частотных реакций. В нашем случае анализировались ответы респондентов на вопрос анкеты: *Напишите, пожалуйста, слова, понятия, выра-*

жения, которые вам первыми приходят в голову при слове национальный (бурятский) герой?

Предпочтения опрошенных респондентов распределились следующим образом:

Чингисхан;

Гэсэр;

Будамшуу;

хамбо-лама Итигилов.

2. На втором этапе (повторное анкетирование) анализу были подвергнуты вышеперечисленные прецедентные имена (март–апрель 2012 г.). САЭ был проведен со студентами 3-4 курсов Восточно-Сибирского Государственного университета технологий и управления (всего 57 чел., возраст 17-25 лет), а также с преподавателями этого же вуза (всего – 41 чел., возраст 25-62 г.). Анализ лексического наполнения секторов ассоциативных полей, актуализовавших различные лексико-семантические варианты (ЛСВ) прецедентных имен позволил получить следующие результаты:

Чингисхан. В основном буряты связывают образ Чингисхана с *Монголией и монголами* (17), *завоеватель* (14), *«Жестокий век»* (7), *сильный* (6), *Тэмуджин* (4), *великий поководец* (12), *человек тысячелетия* (5).

Выделяем следующие характерные особенности образа Чингисхана, бытующие в языковом сознании бурят:

1) *наглядный образ* – высокий, рыжеволосый, на коне, зеленые глаза;

2) *эмоциональный* – жестокость, грозный, благородный;

3) *оценочный* – сильный, смелый, воинственный, умный, великий полководец, отличный тактик, известный вождь, величайшая личность всемирной истории, человек 1000-летия, целеустремленность;

4) *коннотативный* – «Жестокий век», Монголия (монголы), потрясатель Вселенной, великий человек, полководец, Бортэ, гордость бурят и монголов, чингизиды, ресторан, популярное бурятское имя, символ, монголо-татарское иго, предводитель, история, герой, единство, власть, монголы, могила, Золотая Орда, потомок Чинсисхана, родственники.

Таким образом, в бурятском языковом сознании «Чингисхан» ассоциируется с *жестокими завоеваниями* (12), *Монголией, монголами* (17), *монголо-татарским игом* (8), *легендой* (6), *уникальностью* (3), *объединением монгольских племен* (9). Понятия, составляющие культурно-исторический фон данного прецедентного имени: *монголо-татарское иго* (8), *Золотая Орда* (6), *Тэмуджин* (4), *Оэлун – мать Чингисхана* (6), *Бортэ – жена Чингисхана* (4). Кроме того выделяем внешние (дополнительные ассоциации): *водка «Чингисхан»* (5), *монгольская государственность* (5), *бренд и символ Монголии* (8).

Надо отметить, что ПИ Чингисхан способствует консолидации сплочению бурятского этноса, так как именно общность стоящих за ним представлений – *объединение монгольских племен* (9); *великий поководец* (12),

человек тысячелетия (5) и связанных с ними оценок – *гордость* (4), *сила* (6), *ум* (5) – служит осознанию бурятами своего единства. Кроме того, было выявлено, что образ Чингисхана у бурят связан с таким прецедентным текстом, как известный роман И. Калашникова « Жестокий век» (7).

В результате включенного наблюдения удалось выявить следующие стереотипные устойчивые выражения, связанные с ПИ Чингисхан и бытующие в речевой практике городских бурят: *потомок Чингисхана; из рода Чингисхана; прямой потомок Чингисхана; Урагшаа, буряадууд!* – прям. Буряты, вперед! (досл. боевой клич монголов во времена Чингисхана – Вперед!; используется в значение ‘быстрое достижение результата, цели; для ободрения, призыва’); *пошли в Чингисхан* (название ресторана); *тут вас целая орда собралась или набежала орда* (орда в значении – много; ставка Чингисхана – Золотая Орда); *Ты читал Жестокий век? – Конечно, это же настольная книга всех бурят (шутл.).* (предполагается, что человек, прочитавший книгу И. Калашникова «Жестокий век», хорошо знаком с историей и культурой бурят, значит, он культурный, начитанный).

Гэсэр. С образом Гэсэра у бурят связаны следующие основные понятия: *герой бурятского эпоса* (12), *эпос* (18), *воин* (16), *памятник* (9), *легенда* (5), *бурятские сказания* (13), *бурятский богатырь (батор)* (23), *бурятское имя* (7).

От пословного сопоставления одноименных ассоциативных полей естественно перейти к сравнению их семантических структур. Дело в том, что большинство ассоциативных полей обнаруживает особую внутреннюю семантическую организацию своего состава, названную Ю.Н. Карауловым «семантическим гештальтом» и характеризующую поле как единицу знания о мире, соотнося его строение с отраженной в нем структурой реальности. Семантический гештальт складывается обычно из нескольких зон (их число колеблется в пределах 7±2), которые объединяют типичные для данного языкового сознания признаки предмета или понятия, соответствующего имени поля (= стимулу) [3, с. 220]. Например, семантические гештальты ассоциативных полей слова «Гэсэр» включают следующие зоны:

1) *литература (имя, герой)* – Гэсэр – это герой бурятского эпоса, батор, богатырь;

2) *культура (эпос)* – великий эпос, объединяющий монгольские народы;

3) *традиции, обычаи* (имянаречение) – популярное бурятское имя;

4) *форма* – (статуя, памятник).

Выделяем следующие характерные особенности Гэсэра, бытующие в языковом сознании бурят:

1.) *наглядный образ* – красавец, высокий, на коне, богатырь;

2) *эмоциональный* – гордость, супермэн;

3) *оценочный* – народный любимец, отвага храбрость, мужество, суровый;

4) *коннотативный* – герой эпоса, степь, мэргэн, седая старина, бурятские сказания, гостиница, легенда, книги, ум, знание, воспитанность, па-

мятник, улигершин, улигер, песня, кровь, Байкал, батор, популярное бурятское имя, литература, конкурс.

Будамшуу. Для бурят Будамшуу – это *бурятский национальный герой* (21), *символ бурятского юмора* (19), *умный* (14), *находчивый* (9), *образ хитрого бурята* (17), *народный любимец* (8).

Рассматривая образ Будамшуу, как наиболее яркий символ бурятской культуры, выделяем следующие характерные особенности, бытующие в языковом сознании бурят:

1) *наглядный образ* – узкоглазый, маленький, типичный бурят;

2) *эмоциональный* – юмор, веселье, «дед Щукарь», вера в справедливость, высмеивание;

3) *оценочный* – хитрый, ловкий, находчивый, «хитрый бурят», смешливый, смышленый, остроумный, вездесущий;

4) *коннотативный* – персонаж бурятского фольклора, народный любимец, традиция, народный юмор, остановка в г. Улан-Удэ, кафе «Будамшуу», спектакль, Михаил Елбонов (актер, сыгравший данный персонаж), Шишковка (местность в г. Улан-Удэ, где находится кафе с одноименным названием).

В результате включенного наблюдения удалось выявить следующие стереотипные устойчивые выражения, связанные с ПИ Будамшуу и бытующие в речевой практике городских бурят: *ну, ты и хитрый Будамшуу* (о хитром, изворотливом человеке или когда хотят подчеркнуть хитрость как бурятскую национальную черту); *отмечаем в Будамшуу или рядом с Будамшуу* (название кафе).

Хамбо-лама Итигилов. Наиболее частотные реакции с данным прецедентным именем у бурят связаны с *Иволгинским дацаном* (12), *просветлением* (9), *удивлением* (9), *спокойствием* (19), *чудом* (23), *нетленностью* (18), *нирваной* (15), *благоговением* (8), *трепетом* (10), *вечностью* (5). Для бурят Итигилов *феномен* (21). Также феномен хамбо-ламы Итигилова свидетельствует о том, что *человеческие способности безграничны* (8).

Феномен хамбо-ламы Итигилова в языковом сознании бурят выглядит следующим образом:

1) *наглядный образ* – мумия, технология совершенства мумифицирования, живая кожа, воспринимается как живой человек в нирване, который все видит свысока;

2) эмоциональный – чувство, внушающее страх, ужас, оцепенение, тревога, чувство дискомфорта, ступор, благоговение, трепет, почитание и вера, медитация, усиление религиозных чувств, человек на многое способен, только он не использует полностью все ресурсы своего организма, тайна, не до конца верится, не обман, не до конца осознается, немного нереально, просветление, удивление, спокойствие;

3) *оценочный* – феномен, который известен в буддизме, благородство, стремление, совершенство, гордость, вера в неизведанное, сомнение, фе-

номен в современной науке, священное прикосновение, ощущение, что все будет хорошо;

4) *коннотативный* – буддийское чудо, вечная жизнь, ламаизм, буддизм, возрождение, прозрение, достижение наивысшего, вечная память ушедшим, дацан, молитвы, реинкарнация, вечность, бессмертие, нирвана, просветление, святость, бон-черная религия (негативная ассоциация), невероятно, сенсация, чудо, учитель, достигший просветления, Иволгинский дацан, исполнение желаний, священное тело, нетленность, не нужно было вытаскивать.

Анализ показал некоторую противоречивость в восприятии данного феномена. С одной стороны, образ Итигилова в языковом сознании городских бурят вызывает *благоговение* (8), *трепет* (10), *почитание и веру* (4), *усиление религиозных чувств* (5), *гордость* (4), *веру в неизведанное* (3), *в безграничность человеческих способностей* (8), а с другой стороны возникают *чувства, внушающие страх* (6), *ужас* (4), *оцепенение* (3), *тревогу* (3), *чувство дискомфорта* (4), *ступор* (3).

Таким образом, проанализированные прецедентные имена, являясь этноспецифическими стереотипами языкового сознания бурят, входят в коллективную когнитивную базу бурятского лингвокультурного сообщества, ассоциируются с фактами культуры данного социума, а также представляют значимую ценность для каждого представителя бурятского этноса.

Литература

1. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М., 2003.

2. Захаренко И.В., Красных В.В., Гудков Д.Б., Багаева Д.В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных феноменов // Язык. Сознание. Коммуникация: сб. ст. – М., 1997. – С. 84.

3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. – С. 220.

4. Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? – М., 2003.

5. Немирова Н. В. Прецедентность и интертекстуальность политического дискурса (на материале современной публицистики) // Лингвистика: Бюл. Урал. лингвист. общества. – Екатеринбург, 2004. – Т. 11. – С. 149.

6. Уфимцева Н.В. Русские: опыт еще одного самопознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. – М.: ИЯ РАН,1996. – С.139-162.

Бухаева Раджана Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры восточных и европейских языков Восточно-Сибирского государственного технологического университета. E-mail: lotos7205@mail.ru

УДК 811.512.31'42

© *Г.А. Дырхеева*

Компьютерная лингвистика в бурятоведении

Статья представляет собой краткий обзор состояния нового раздела современного языкознания – компьютерной лингвистики – в бурятоведении. Автоматическая обработка текста, как и для многих других языков, в начальном периоде преимущественно характеризуется лингвостатистической обработкой бурятского художественного текста. Однако первый опыт был связан со статистико-комбинаторным описанием сочетающихся согласных в бурятском языке. Последние разработки связаны с информационной поддержкой бурятского языка в компьютерных и виртуальных средах.

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, бурятский язык, статистико-типологическая характеристика, автоматическая обработка текста, информационные технологии.

G.A. Dyrkheeva

Computer linguistics in Buryat science

In the article the short review of the new department of linguistics – computer linguistics – in Buryat science is presented. As in other languages at the beginning automatic text treatment of the texts is characterized by statistic treatment of Buryat fiction. Though the first experiment was the statistical-combinative description of the Buryat consonant combinations. The last elaborations are connected with the information data ware of the Buryat language in computer and virtual environment.

Keywords: computer linguistics, Buryat language, statistic and typological characteristics, automatic text treatment, informational technologies.

Сегодня компьютерная лингвистика достаточно широко представлена во многих языках, что связано, в первую очередь, с развитием информационных технологий. Современная сфера компьютерной лингвистики весьма разнообразна и включает такие области, как компьютерное моделирование общения, моделирование структуры сюжета, гипертекстовые технологии представления текста, различные формы автоматической обработки текстов, машинный перевод, компьютерная лексикография и т.д., т.е. это вся сфера применения компьютерных моделей языка в лингвистике и смежных дисциплинах.

Первой работой в бурятоведении, связанной с автоматической обработкой данных, было исследование, связанное со статистико-комбинаторной характеристикой парадигм сочетающихся согласных в бурятском языке [4]. Общеизвестно, что особенностью бурятского языка является сочетаемость не более двух согласных фонем, причем только внутри слова. Предполагалось, что в результате первого опыта использования ЭВМ для лингвистического исследования бурятского языка будет определен количественный состав сочетаний согласных. Была поставлена задача провести анализ функциональной нагрузки фонем в словаре и, в дальнейшем, в тексте.

Данная работа явилась началом более обширного вероятностно-статистического моделирования бурятского языка на материале художественных текстов [7]. Для обработки были выбраны произведения классика национальной литературы Х. Намсараева. Общий объем обработанного текста составил 271 866 словоупотреблений. В результате обработки были получены частотные списки слов (11 769 ед.), словоформ (36 984 ед.), парных слов, фразеологизмов, русизмов.

Поскольку данное исследование – первый подобный опыт в бурятоведении, естественно, одной из его задач было выявить квантитативно-типологические характеристики обследованного материала, сравнить их с имеющимися сведениями по другим родственным и неродственным языкам. Так, анализ выявил ряд статистических оценок, которые выделены в качестве типологических критериев: 1) статистическая покрываемость по зонам частотного словаря словоформ: в бурятском тексте 100 первых словоформ покрывают 23-28% текста (во флективно-аналитических – 43-54%); 2) средняя повторяемость словоформ по произведениям 1,65-5,03, в общем корпусе – 7,35 (во флективно-аналитических языках – 9,8-18,04); 3) средняя длина словоформы в тексте 6,29 букв, в словаре – 8,59, что значительно больше средней длины словоформ в индоевропейских языках.

Сравнения с данными, например, по казахскому языку [4], относящемуся, как и бурятский, к языкам агглютинативного строя, привели к следующим выводам: а) на бурятском материале выполняется критерий темпа роста покрываемого текста наиболее частыми словами и словоформами: первая тысяча словоформ покрывает до 60% текста; б) самая первая высокочастотная словоформа покрывает 1 и более процент текста, как и в казахском языке; в) значение коэффициента заполнения не является четкой типологической оценкой.

Отчасти типологической характеристикой языка могут быть слова высокочастотной зоны. Так же, как и в других языках, в бурятском в данную группу входят служебные и полнозначные стилистически нейтральные слова. Однако среди них очень высока доля глагольных форм (из 200 самых частых слов – 23,5%, которые покрывают 20% текста), большинство из них, кроме употребления в основном значении, используются в качестве служебных слов и вспомогательных глаголов в аналитических конструкциях. Существительные данной зоны образуют тематическую группу слов, в значениях которых проявляется доминация компонентов человеческого микромира и его окружения. Как и в казахском языке, среди прилагательных на первом месте стоит слово *хара* (*кара* – в казахском языке) ‘черный’.

Слова высокочастотной зоны имеют удовлетворительную корреляцию в среднем до 25 ранга, но, чем меньше произведение, тем более высокий ранг занимают тематические, сюжетные слова.

При лингвистическом анализе текста целью исследования может быть не только изучение текста как частного случая реализации общей языковой

системы, но и изучение самого текста как особой системы, то есть исследование того, какие средства, элементы языка как соорганизованы. Наиболее подробно в работе анализируется параметр распределения лексических элементов по частям речи.

Очевидно, что данное исследование имеет и практическую значимость. Результаты проведенной работы могут быть использованы, например, для решения задачи о вероятностной природе «нормы» языка, для нормализации литературного языка, исследований по культуре речи, истории изменения и формирования бурятской лексики, в методике преподавания бурятского языка [6], а также при решении других задач. На базе полученных данных возможна более эффективная разработка таких частных вопросов, как парные слова, фразеологические сочетания, классификация лексики по частям речи, фонетические вопросы, установление синонимических рядов, выявление экспрессивной лексики и другие.

Полученный материал был использован и в работе [7], которая имеет целью подойти к одной из наиболее спорных и сложных проблем формо- и словообразования – морфологической структуре бурятского слова – несколько с иных нетрадиционных позиций, используя, возможно, уже не совсем современный лингвостатический подход. В ее основе лежит морфологический анализ списка словоформ, составленного по тем же произведениям Х. Намсараева (объемом более 272 словоупотреблений). Разработаны принципы анализа в целях автоматической обработки текстового массива. Выявлены совокупности морфем в виде списков суффиксов и корней, сопровождающихся количественными и качественными характеристиками. Весь список словоформ, разделенных на морфемы, также сопровождающихся количественными характеристиками, представлен на компакт-диске.

В основе проекта лежит обратный алфавитно-частотный словарь. Как и в работах предшественников, особое внимание было обращено на спорные вопросы бурятской морфологии. При этом очевидно, что использование статистического аппарата способствует выявлению продуктивности и употребительности выделенных структурных элементов, зависимостей и статистических закономерностей частотного распределения лексико-грамматических классов, основ слов и формообразовательных формантов, то есть решению в определенной степени грамматических вопросов проблематики бурятского языкознания.

Обратный алфавитно-частотный словарь был составлен на базе уже имеющегося и частично опубликованного алфавитно-частотного словаря словоформ по художественным произведениям классика бурятской литературы Х. Намсараева. На этапе занесения текстов и словарей в компьютер для их дальнейшей обработки, в основном, были использованы традиционные методы лексико-грамматического и сравнительно-сопоставительного анализов, которые применялись и при разбивке словоформ на морфемы.

В итоге получено 4 разнообразных списка, в которых все единицы сопровождаются количественной характеристикой их встречаемости в тексте и словаре: прямой алфавитно-частотный список словоформ, разделенных на морфемы; тот же список, упорядоченный в обратно-алфавитном порядке; список корней и список суффиксов.

Всего выделено 5 028 корней и 267 суффиксов. Общее количество выделенных морфем составляет более 5 300 единиц. Наиболее частотными и продуктивными, как и ожидалось, явились глагольные корни *г- (гэ-)* 'говорить' (12853 – частота в тексте и 215 – частота в словаре), *бай-* 'быть' (8920/311) и *боло-* 'становиться' (5123/267). Самыми частотными оказались суффиксы образования деепричастий *–жа/-жо/-жэ*, *-н*, причастий (*-ха/-хо/-хэ)* и глаголов. То есть согласно данной предварительной статистике можно утверждать, что бурятский язык является вербальным. Что касается слово- и формообразовательной структуры слова, то в словаре примерно 10% – корневые слова, 32% состоят из двух морфем, 36% – трех, 16% – четырех, более 5% – из пяти и более морфем.

Для лингвостатистической обработки внесенного массива был разработан комплекс программного решения, который впервые применен в данной сфере филологических изысканий, что позволило на качественно новом уровне решать задачи грамматического характера. Проектируемое программное обеспечение позволяет исследователю-филологу работать в комфортной пользовательской среде.

На основе разработанной реляционной структуры представления данных с использованием средств MS Access было создано приложение для эффективной обработки и представления частотного словаря лексики бурятского языка. Приложение включает в себя ряд запросов и форм и позволяет решать следующие функции:

1) определять количество уникальных основ, содержащихся в частотном словаре, их относительную (встречаемость в словаре) и абсолютную (встречаемость в тексте) частоты;

2) определять количество и частоты уникальных аффиксов;

3) отображать уникальные основы/аффиксы со словоформами, в которых они содержатся;

4) осуществлять поиск необходимых элементов БД;

5) осуществлять разнообразные режимы сортировки и группировки данных для более удобного представления;

6) осуществлять различные виды статистического анализа над исходными и производными наборами данных.

Несомненно, что представленные в работе материалы могут и должны служить основой для дальнейших изысканий в области бурятской морфологии и словообразования, в частности, выявления типов аффиксального формо- и словообразования, их моделей, а также получения словообразовательного словаря, решению задач по выявлению статистических законо-

мерностей частотного распределения корней слов, слово- и формообразовательных формантов, а также типологического сравнения выявленных статистических характеристик с данными по другим языкам.

Последние годы отмечены резким ростом в бурятоведении интереса к исследованиям, связанным с информационной поддержкой бурятского языка в компьютерных и виртуальных средах. Можно отметить, что в Государственной программе РБ по сохранению и развитию бурятского языка на 2011-2014 гг. выделен раздел 4.3 «Информационные технологии и техническое обеспечение», выполнение которого предположительно должно обеспечить ресурсы функционирования бурятского языка в информационных технологиях. Как отмечают участники разработки данного раздела программы, «уже сейчас можно делать веб-сайты на бурятском языке, локализовать готовые программы, виртуальные сервисы, разрабатывать программные продукты с бурятским языком интерфейса, создавать научный инструментарий для изучения бурятского языка с использованием современных технологий».

На данный момент в сети действует моноязычный бурятский проект электронная библиотека бурят-монгольской литературы (nomoihan.org), многоязычные сайты с бурятским языком – сайт бурятского языка (buryadxelen.org, xugjem.com, egetyn-adag.eravna.ru, narhata.eravna.ru, nomoihan.eravna.ru, buryatia.org, buryat-mongolia.info, toonto.mn, egov-buryatia.ru и др.). На бурятский язык переводится также крупнейшая социальная сеть, охватившая все страны бывшего СССР – vkontakte.ru, а также свободная виртуальная энциклопедия – Wikipedia.

Из программ с бурятским языком интерфейса пока можно назвать только электронный учебник бурятского языка «Буряад хэлэн»» [1].

В Государственной программе особый раздел посвящен разработке проекта «Электронный корпус бурятского языка». Руководитель проекта и соответствующих грантов Л.Д. Бадмаева. Цель данной работы – обработка текстов на бурятском языке, переведенных из бумажных версий в электронные. В результате данной обработки предполагается получить корпус бурятского языка, который будет включать художественные, общественно-публицистические и учебно-научные тексты. Соответственно, он должен быть каким-то образом упорядочен. По типу данных это будет письменный корпус, по доступности – закрытый, по назначению – исследовательский, по степени готовности – неразмеченным, по объему текстов – полнотекстовым [Цит. по: 2, с. 62]. Предполагается, что такой корпус можно будет использовать в различных исследовательских целях, в частности, для создания конкордансов и, в дальнейшем, специальных корпусных менеджеров. В настоящее время уже проведена большая подготовительная работа, значительная часть текстов оцифрована и вычитана, разработаны основные принципы создания корпуса и принципов лемматизации слов, идут подготовительные работы для открытия сайта: http://concordance.burcorpora.ne.

Литература

1. Бадагаров Ж.Б. Бурятский язык и киберпространство // Бурятский язык : исторические судьбы и современность. – Улан-Удэ, 2009. – С. 42-46.

2. Бадмаева Л.Д. Использование конкордансера к электронным текстам на бурятском языке // Бурятский язык : исторические судьбы и современность. – Улан-Удэ, 2009. – С. 61-73.

3. Бадмаева Л.Д. Бурятский язык и корпусная лингвистика // Состояние и перспективы развития бурятского языка: материалы форма бурятского языка. – Улан-Удэ, 2009. – С. 83-86.

4. Бектаев К.Б. Статистико-информационная типология тюркского текста. – Алма-Ата: Наука, 1978. – 183 с.

5. Дырхеева Г.А., Пурбуева Т.М. Программа статистико-комбинаторного анализа характеристик парадигм сочетающихся согласных // Вычислительная техника и программирование. – Улан-Удэ, 1978. – С. 89- 95.

6. Дырхеева Г.А. Использование частотного словаря для оптимизации преподавания бурятского языка. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1992. – 237 с.

7. Дырхеева Г.А., Ринчинов О.С. Морфологическая структура слова в бурятском языке: лингвостатистическое описание (на материале художественного текста). – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2002. – 99 с.

8. Дырхеева Г.А. Бурятский художественный текст: лингвостатистическое описание (на материале прозы Х. Намсараева) . – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2007. – 205 с.

Дырхеева Галина Александровна, доктор филологических наук, доцент, главный научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail an5dag1@mail.ru.

УДК 811.512.31'36

© В.М. Егодурова

Категория залога глагола в бурятском языке

В статье реализована новая классификация категории залога глагола в бурятском языке. Трактовка ее базируется на основательном изучении залоговых форм глагола в исследованиях ученых X1X–XX вв. Определены критерии выделения категории залога бурятского глагола как лексико-грамматической категории, дано описание значений залоговых форм глагола.

Ключевые слова: бурятский глагол, действительный залог, страдательный залог, субъект, объект, подлежащее, дополнение, глагол-сказуемое, переходный глагол, непереходный глагол, активное действие, пассивное действие, состояние, формообразующий суффикс, словообразующий суффикс, побудительное значение, совместно-взаимное значение, взаимно-возвратное значение.

V.M. Egodurova

Category of voice of the verb in Buryat language

This article introduces a new classification category of voice of the verb in Buryat language. Treatment is based on thorough examination of its collateral forms of the verb in the research scientists of the 19th-20th centuries. Defined criteria for category of voice of the Buryat verb as lexical-grammatical category, describe the values of collateral forms of the verb.

Keywords: Buryat have valid bail, be put in the passive voice, the subject, object, verb, subject-verb agreement, transitive verb, intransitive verb, an open, passive activity, status, forming suffix, suffix slovoobrazuûsij, meaning a socializing together-mutual value, mutually-return value.

Категория залога глагола в бурятском языке, казалось бы, относится к наиболее изученным вопросам грамматики. Однако при глубоком погружении в историю изучения проблемы обнаруживаются различные взгляды, различные подходы ученых при описании залоговых значений. Исследование нами истории изучения залоговых форм глагола в ранних грамматиках по монгольскому языку, затем в первых грамматиках по бурятскому языку позволило установить, что в них прежде всего нашло описание глагольных форм, имеющих явно выраженные морфологические показатели. К числу таких глагольных форм относятся залоговые формы глагола.

Наши наблюдения показывают, что хотя залоговые формы глаголов выделялись учеными, несформированность понятия «грамматическая категория» в первых грамматиках по монгольским языкам, в том числе в бурятском языкознании, привела к неоднозначному их толкованию. Каждый из ученых: Я. Шмидт, Ал. Бобровников, О. Ковалевский, А. Бобровников, В.Л. Котвич. – имел свою трактовку залогов, что объясняется разными подходами к их определению [1]. Их подходы сводятся в основном к двум позициям: 1) выделение действительного и страдательного залога связано со значениями переходности-непереходности; 2) выделение других залогов (количество их разное у авторов) связано с морфолого-словообразовательными особенностями глаголов. Это свидетельствует о разных критериях выделения залоговых форм и описания их значений.

Анализ лингвистической литературы позволил нам прийти к выводу о том, что и в первых грамматиках по бурятскому языку и далее в грамматиках по современному бурятскому языку выявленные в ранних грамматиках монгольского языка залоговые формы продолжали рассматриваться, подвергаясь лишь некоторым дополнениям в описании, без достаточного внимания к теоретическим основаниям их выделения и трактовки [1]. Большинством ученых выделялись действительный, страдательный, побудительный, совместный и взаимный залоги, другие формы либо назывались, либо не назывались в их трудах. Поэтому традиционно в бурятском языке закрепилась пятизалоговая классификация глагола. Дискуссии по вопросу о словообразовательном или формообразовательном характере суффиксов, образующих залоговые формы, не прекращаются. Отсутствие четких критериев выделения залогов в бурятском языкознании в связи с бесспорно принятой точкой зрения большинством монголоведов прошлого залоговой классификации бурятских глаголов привело нас к необходимости критического взгляда на существующую теорию. Нами выявлено, что некоторые ученые при выделении действительного и страдательного залога учитывают синтаксическую характеристику глагола, то есть переходность-непереходность, другие же формы глаголов отражают только морфолого-словообразовательную основу их выделения без учета их синтаксических связей с субъектом и объектом. В современной лингвистике, как известно,

залог – это грамматическая категория, в которой переплетены синтаксические и морфологические характеристики слова, поэтому выделение и интерпретация каждой залоговой формы должны быть едиными с учетом названных критериев.

Тщательный анализ истории изучения залоговых форм глагола на протяжении XIX–XX вв. и описания их в рамках трактовки грамматической категории залога во всех известных трудах ученых, исследующих монгольские языки [1], позволил нам определить неоднозначность в интерпретации этой категории, отсутствие единых подходов и необходимость нового исследования в контексте современных лингвистических знаний. В настоящей статье аргументируется новый подход к описанию категории залога глагола в бурятском языке.

Новая трактовка категории залога в бурятском языке, предложенная нами, строится с учетом связи категории залога глагола с категорией переходности-непереходности, позиции глагола в составе предложения по отношению к субъекту и объекту речи и выражения им отношений между ними, определения компонентов синтаксической залоговой конструкции, морфологического выражения определенными суффиксами, выявлением функциональных особенностей суффиксов в залоговых формах глагола.

По нашим наблюдениям [2], категория залога глагола в бурятском языке – это классификационная лексико-грамматическая категория, которая выражает отношение действия к субъекту (производителю действия) и объекту действия (предмету, над которым действие производится). Залог отражает ситуацию, включающую действие, субъект и объект. Глагол в речи может обозначать как активное действие субъекта при употреблении в активной позиции (Aktiv), так и пассивное состояние объекта, возникающее в результате этого действия, при употреблении в пассивной позиции (Passiv).

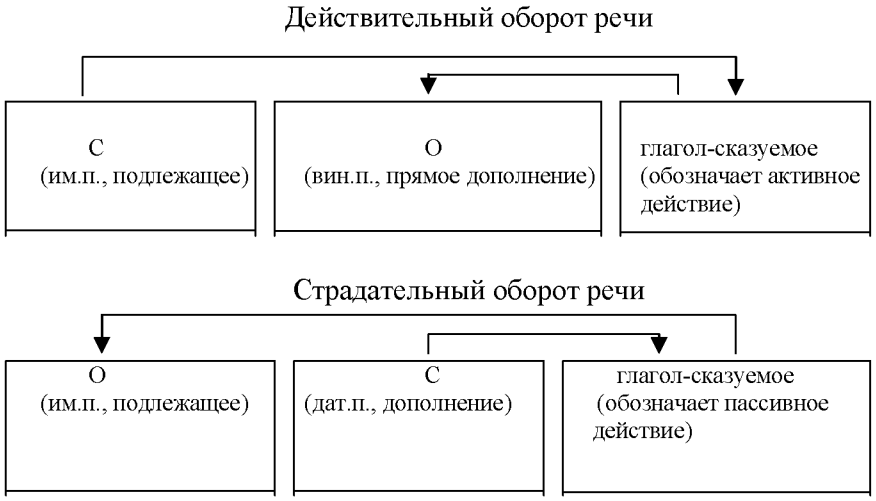
В бурятском языке активное действие субъекта выражают глаголы действительного залога. К действительному залогу относятся переходные глаголы, переходные глаголы с побудительным, совместно-взаимным и взаимно-возвратным лексическими значениями. Пассивное состояние объекта выражают глаголы страдательного залога. Образования, принадлежащие к разным залогам, различаются своими «сочетательными» свойствами.

В активной позиции (Aktiv) выступают глаголы действительного залога, в пассивной позиции (Passiv) употребляются глаголы страдательного залога. Оборот речи, в котором глагол выступает в позиции актива, называется действительным. Оборот речи, в котором глагол выступает в позиции пассива, называется страдательным.

В действительном обороте речи субъект (производитель действия) выступает в форме именительного падежа, глагол обозначает действие, прямо направленное на объект (предмет, над которым действие производится), выраженный формой винительного падежа.

В страдательном обороте речи субъект (производитель действия) выступает в бурятском языке в форме дательного падежа, глагол обозначает его действие, направленное на объект, выраженный формой именительного падежа.

Конструкции с залоговыми значениями бурятских глаголов можно представить следующим образом. С – субъект, О – объект.



Глагол действительного залога обозначает, что действие субъекта прямо переходит на объект. Глаголы действительного залога – это переходные глаголы. Например: *Димэд унеэ* ***һаажа***, *Доржо тугалаа* ***адуулна***. *(Цыдендамбаев).* Димит доит корову, а Доржи пасет телят. *Уула мори* ***зобоохо***, *уур ху* ***зобоохо***. *(Поговорка).* Гора мучает коня, гнев мучает человека.

Конструкции из подлежащего (субъекта), сказуемого – переходного глагола и прямого дополнения (объекта) называются действительными оборотами. В таких оборотах употребляются глаголы действительного залога.

Эти конструкции легко трансформируются в конструкции, где прямое дополнение (объект) становится подлежащим, а подлежащее (субъект) – косвенным дополнением, выраженным дательным падежом. Такие обороты называются страдательными. В страдательных оборотах речи употребляются глаголы страдательного залога.

Глагол страдательного залога обозначает пассивное действие или состояние объекта. Глаголы страдательного залога – непереходные, но образуются они только от переходных глаголов. Следовательно, категорию залога имеют только переходные глаголы. Например: *Унеэн Димидтэ* ***һаагдажа***, *тугал Доржодо* ***адуулагдажа байна***. – Димид доит корову, Доржи пасет теленка (*досл.* Корова доится Димидом, теленок пасется Доржо).

Существуют морфологические и синтаксические средства выражения залоговых значений. Действительный залог глагола не имеет специального морфологического показателя (аффикса), он имеет только синтаксическую характеристику: субъект является подлежащим, а объект – дополнением в винительном падеже. Например: *Бата загаһа* ***гахуулидаба***. – Бата удил рыбу.

Конструкции с действительным оборотом речи являются трехкомпонентными, состоящими из субъекта, объекта и глагола. Глаголы действительного залога по структуре могут быть как непроизводными, так и производными. Производные глаголы – это глаголы, образованные от непереходных глаголов с помощью словообразовательных суффиксов с побудительным, совместным и взаимно-возвратным значением. В следующих примерах употребляются глаголы действительного залога с побудительным значением.

Үгы һаа, би нэгэдэхи классда энээнүүе ***оруулхаб***. – В противном случае я зачислю его в первый класс. *Би* – субъект, выражен местоимением в им.п., является подлежащим, *оруулхаб* – зачислю, досл.: заставлю войти, глагол действ. залога обозначает действие субъекта, прямо направленное на объект, в предложении является сказуемым; *энээнүүе* – объект, выражен местоимением вин. п., является прямым дополнением. Суффикс *-уул* в глаголе выступает в функции словообразовательного, имеющего значение ‘заставить, отправить’.

Доржо хайрсагаа нээжэ, букварь арифметикэ хоёрые ***гаргаба***. (Цыдендамбаев). – Доржи, открыв свой сундучок, вынул букварь с арифметикой. *Доржо* – субъект выражен сущ. в им.п., *гаргаба* – глагол действительного залога, обозначает действие субъекта, прямо направленное на объект, в предложении является сказуемым, *гаргаба* – вынул (досл.: заставил выйти), суффикс *–га* выступает в функции словообразовательного со значением «заставить», *букварь арифметикэ хоёрые* – объекты, выражены сочетанием существительных с числительным в вин.п., в предложении являются прямыми дополнениями.

Баян хүн ой соо орожо, нэгэ будуун нарһанай узуурта мэшээгээ түшүүлээд, обоо собоо мушэр намаа ***суглуулба***. (арадай онтохон). – Богач, войдя в лес, положив свой мешок у основания одной толстой сосны, собирает большую кучу сучьев. *Баян хүн* – субъект, выражен сочетанием существительного в им.п. с прилагательным, *суглуулба* – глагол действительного залога, обозначает действие субъекта, прямо направленное на объект, в предложении является сказуемым; *суглуулба* – собирает, досл.: собирает, делает, суф. *-уул* выступает в функции словообразовательного со значением ‘делает’; *намаа* – объект, выражен существительным в вин. п., в предложении выступает прямым дополнением.

Би харыень бодожо, тэрэнүүе гэртээ оруулангүй ***ябуулааб*** (Ж. Тумунов). – Я, подумав о последствиях, не пустил его домой и отправил обратно. *Хэн эдэнүүе эндэ* ***оруулааб***? (Намсараев). – Кто их сюда пустил? *Ши*

наадагша болоод, тэрэ торхоёо мухарюулаад, наашань ***гарга***. (арадай онтохон). – Притворившись, что играешь, выкати ту кадушку сюда.

Действительный залог глагола может употребляться с взаимно-возвратным значением. Глаголы действительного залога с взаимно-возвратным значением семантически объединяют в единое целое субъект и объект речи и обозначают действия, совершаемые двумя или несколькими лицами, каждое из которых является одновременно субъектом и объектом речи. Суффикс *–лда* в глаголе имеет значение, близкое к значению сочетания ‘друг друга’. Например: *Алдар Баяр хоёр* ***тэбэрилдэбэ***. – Алдар и Баяр вдвоем обнялись. *Сэсэг Эржена хоёр* ***ушаралдаба***. – Сэсэг и Эржена вдвоем встретились. *Эдэ хоёр* ***наншалдана*** (Цыдендамбаев). – Эти двое дерутся. *Алдар Баяр хоёр, Сэсэг Эржена хоёр* – субъекты, выражены сочетаниями существительных в им.п. с числительным; *эдэ хоёр* – субъект, выражен сочетанием местоимения в им.п. с числительным; *тэбэрилдэбэ, ушаралдаба, наншалдаба* – глаголы действительного залога, обозначают действия, совершаемые двумя лицами, каждое из которых является и субъектом и объектом речи; *тэбэрилдэбэ* – обнялись (обняли друг друга), *ушаралдаба* – встретились (встретили друг друга), *наншалдана* – дерутся (дерут друг друга).

Действительный оборот речи с глаголом действительного залога во взаимно-возвратном значении мыслится как трехкомпонентный, но субъект и объект речи выступают как единое семантическое целое, занимают одну позицию, поэтому материально выражены двумя компонентами, т.е. являются двухкомпонентными.

Конструкции с действительным оборотом являются двухэлементными в двухсоставных предложениях с глаголом действительного залога, имеющим взаимно-возвратное значение. Глаголы действительного залога с взаимно-возвратным значением могут обозначать действия субъектов, направленные друг на друга или производимые вместе. То есть глагол обозначает действие, замкнутое на субъекте (или субъектах), одновременно выступающем объектом речи. Глагол в таких оборотах речи объединяет в один компонент субъект и объект речи и выражает их взаимное действие.

Действительный залог глагола с совместно-взаимным значением обозначает действия субъектов, совершаемые совместно и направленные на объект. Например: *Мархансай Тэгшэ хоёр нюур нюураа* ***харалсаба*** (Цыдендамбаев). – Мархансай и Тэгшэ посмотрели в лицо друг друга. *Мархансай Тэгшэ хоёр* – субъекты, выражены сочетанием существительных с числительным в им.п., являются подлежащими; *харалсаба* – глагол действительного залога, обозначает совместно-взаимные действия субъектов, направленные на объекты, является сказуемым; *нюур нюураа* – объекты, выражены сочетанием существительных в им. и вин. падежах, выступают прямыми дополнениями.

Доржо Алексей хоёр гараа ***барилсабад*** (Цыдендамбаев). – Доржи и Алексей подали друг другу руки (или взялись за руки). *Доржо и Алексей* – субъекты, выражены существительными в им.п.; *барилсабад* – глагол действительного залога, обозначает совместно-взаимное действие субъектов, производящих действие с объектом; является сказуемым, *барилсабад* – взялись; *гараа* – объект, выражен существительным в вин.п., в предложении является дополнением.

Суффикс *-лса* в глаголах с совместно-взаимным значением близок к выражению «вместе друг друга». Глагол *харалсаба* – посмотрели вместе друг на друга, глагол *барилсабад* – взялись вместе друг с другом.

Глаголы действительного залога с совместно-взаимным значением могут употребляться в значении взаимно-возвратных глаголов. Например*: Би тэрээнтэй* ***үзэлсэхэб*** (Намсараев). – Я с ним увижусь. *Би тэрээнтэй* – субъекты, выражены сочетанием местоимений в им. и совместных падежах, *үзэлсэхэб* – глагол действительного залога с показателем совместно-взаимного значения – суффиксом *-лсэ* употреблен в значении взаимно-возвратного глагола.

Конструкции как с действительным, так и со страдательным оборотом речи могут в контексте утрачивать одну из позиций и выступать как двухэлементные. Действительный оборот речи может выступать как двухэлементный в обобщенно-личном предложении. Например: *Ажалгүйгөөр алганашье* ***барихагүйш*** (арадай онтохон). – Без труда и окуня не поймаешь.

Субъект речи (ты) подразумевается, аффикс глагола 2 л. ед.ч. *-ш-* указывает на него; *барихагүйш* – глагол действительного залога, обозначает действие субъекта, прямо направленное на объект, выступает в функции сказуемого; *барихагүйш* – не поймаешь; *алганашье* – объект, выражен существительным в вин.п., является дополнением.

Тэрэ дары Балданиие ***ерүүлбэд*** (Цыдендамбаев). – Немедленно вызвали Балдана.

Субъект речи (они) подразумевается, аффикс глагола 3 л. мн.ч., *-д-* указывает на него; *ерүүлбэд* – глагол действительного залога, обозначает действия субъекта, переходящие на объект, выступает в функции сказуемого; *ерүүлбэд* – заставили (или попросили) прийти; *Балданиие* – объект, выражен существительным в вин.п., является дополнением.

Үдэшэлэн Эрдэмтые ерүүлжэ, хоёр тарганууд хонидые ***алуулбад*** (Цыдендамбаев). – Вечером (они) пригласили Эрдэмтэ и попросили зарезать двух жирных овец.

Субъект речи (они) подразумевается, аффикс глагола – 3 л. мн. ч. *-д* указывает на него; *алуулбад* – глагол действительного залога, обозначает действия субъекта, направленные на объект, является сказуемым; *алуулбад* – попросили зарезать; *хонидые* – объект речи, выражен существительным в вин.п., является дополнением.

Глаголы с взаимно-возвратным и совместно-взаимным суффиксами могут употребляться для выражения действия, производимого попутно. Например: *Хүнэй мори* ***асаралдажа ерээб*** (Тумунов). – Привел я чужого коня вместе с другим. Субъект речи (я) подразумевается, аффикс глагола 1 л. ед.ч. *-б* указывает на него; *асаралдажа ерээб* – глагол действительного залога с взаимно-возвратным суффиксом, обозначает попутное действие субъекта, переходящее на объект, выступает в функции сказуемого; *асаралдажа ерээб* – аналитический глагол – привел; *мори* – объект, выражен существительным в вин.п., является дополнением.

В конструкциях со страдательным оборотом речи подлежащее называет объект, который испытывает действие, выраженное сказуемым. Глаголы страдательного залога имеют особый формообразовательный суффикс *-гда (-гдэ, -гдо).* Одним из основных показателей страдательного залога глагола в конструкциях со страдательным оборотом речи является употребление субъекта (имени) в форме дательного падежа.

Например: *Матвей Семенович Доржодо айхабтар ойроор, ехэ һайнаар* ***һанагдана*** (Цыдендамбаев). – Матвей Семенович вспоминается Доржи очень близким, очень хорошим человеком. *Доржодо* – субъект, выражен существительным в дат. п.; *һанагдана* – глагол страдательного залога обозначает действие, которое испытывает субъект при воспоминании об объекте, является сказуемым; *Матвей Семенович* – объект, выражен существительным в им.п.

Хонин шонодо ***баригдаба.*** – Овца схвачена волком. *Шонодо* – субъект, выражен существительным в дат.п.; является дополнением. *Баригдаба* – глагол страдательного залога, обозначает действие, которое испытывает объект в результате действия субъекта, является сказуемым; *хонин* – объект, выражен существительным в им.п., является подлежащим.

Ахамнай малгайгаа дээрмэшэндэ ***буляагдаба.*** – Грабителем отнята шапка брата. *Дээрмэшэндэ* – субъект, выражен существительным в дат.п.; *буляагдаба* – отнята, глагол страдательного залога, обозначает действие, которое испытывает объект в результате действия субъекта, является сказуемым; *ахамнай* – объект, выражен существительным в им.п.

Бидэ хоёр мэхэшэ үнэгэндэ ***мэхэлэгдэжэ байна бэшэ гүбди?*** – Не обманут ли мы с тобой обманщицей-лисой? *Үнэгэндэ* – субъект, выражен существительным в дат.п., *мэхэлэгдэжэ байна* – глагол страдательного залога, обозначает действие, которое испытывает объект в результате действия субъекта, является сказуемым; *бидэ хоёр* – объект, выражен сочетанием местоимения с числительным в им.п.

Конструкции со страдательным оборотом речи могут выступать как двухэлементные, утрачивая позицию объекта речи, в односоставных обобщенно-личных предложениях. Например: *Тиигээд хүнэй мяха эдидэг хүнүүдтэ* ***баригдашаба*** (Цыдендамбаев). – Так был схвачен людоедами. *Хүнүүдтэ* – субъект, выражен существительным в дат.п., является дополне-

нием; *баригдашаба* – глагол страдательного залога, обозначает действие, которое испытывает объект в результате действия субъекта; является сказуемым; *баригдашана* – был схвачен; объект (он) подразумевается, нулевой аффикс глагола указывает на него.

Глаголы, имеющие словообразовательные суффиксы со значением побуждения, могут употребляться не только в конструкциях с действительным оборотом речи, но и в страдательных оборотах речи. Например: *Хойш, үнеэндэ* ***мүргүүлбэш!*** – Уйди, как бы тебя не забодала корова. *Үнеэндэ* – субъект, выражен существительным в дат.п., является дополнением; *мүргүүлбэш* – глагол в значении страдательного залога с побудительным суффиксом, обозначает предупреждение о результате действия, которое может испытать объект (ты) со стороны субъекта, является сказуемым; объект (ты) подразумевается; суффикс глагола 2 л.ед.ч. –ш указывает на него.

Ямаанайнгаа һүүл шонодо ***абхуулааш!*** (арадай онтохон) – Ты дал волку откусить хвост твоей козы. *Шонодо* – субъект, выражен существительным в дат.п., является дополнением; *абхуулааш* – глагол в значении страдательного залога побудительного наклонения, обозначает действие, которое испытал объект *(ямаан)* в результате действия субъекта.

Наблюдаются особенности в употреблении глаголов с формальным показателем страдательного залога, имеющих в лексическом значении сему «лишения, уменьшения, удаления». В приведенных ниже примерах глаголы с суффиксами страдательного залога организуют конструкции, характерные для действительных оборотов в речи: субъект выражен именем в им.п., объект выражен существительным в вин. п. Однако сам глагол обозначает пассивное состояние субъекта в результате лишения объекта, т.е. употреблен в страдательном значении.

Олон хүн тэмээнэй ашаа алтанай түлөө амяа ***хороогдобо*** (арадай онтохон). – Много людей лишились жизни из-за верблюжьего вьюка с золотом. *Олон хүн* – субъект выражен сочетанием существительного в им.п. с наречием; *хороогдобо* – глагол со страдательным значением, обозначает действие, которое испытывает субъект в результате лишения объекта, является сказуемым; *амяа* – объект, выражен существительным в вин.п.

Тэдэнэр аргаяа ***барагдаба*** (Цыдендамбаев). – Они исчерпали возможности. *Тэдэнэр* – субъект, выражен местоимением в им.п.; *барагдаба* – глагол со страдательным значением, обозначает действие, которое испытывает субъект в результате лишения объекта, является сказуемым; *аргаяа* – объект, выражен существительным в вин.п.

Итак, нами выявлено, что в бурятском языке существуют конструкции с действительным оборотом речи и конструкции со страдательным оборотом речи, которые состоят из трех членов (субъект, объект, глагол). В конструкциях с действительным оборотом речи употребляются глаголы собственно действительного залога, глаголы действительного залога с побудительным значением, глаголы действительного залога с взаимно-

возвратным значением, глаголы действительного залога с совместно-взаимным значением. Основными признаками глаголов действительного залога являются следующие: с точки зрения синтаксической – это глаголы переходные; глагол обозначает действие субъекта, выраженного формой именительного падежа, и направлен на объект, выраженный формой винительного падежа. С точки зрения семантической: глагол обозначает активное действие, производимое субъектом. С точки зрения морфолого-словообразовательной: глаголы собственно действительного залога не имеют морфологического показателя. Глаголы действительного залога (активные, переходные) с побудительным значением имеют словообразовательные суффиксы (*-уул, -га*). Глаголы действительного залога (активные, переходные) с взаимно-возвратным значением имеют словообразовательный суффикс (*-лда*). Глаголы действительного залога (активные, переходные) с совместно-взаимным значением имеют словообразовательный суффикс (*-лса*).

В конструкциях со страдательным оборотом речи употребляются глаголы собственно страдательного залога и глаголы страдательного залога с побудительным значением. Основными признаками глаголов страдательного залога являются следующие: с точки зрения синтаксической – это глаголы непереходные; глагол характеризует действие субъекта, выраженного формой дательного падежа и направлен на объект в форме именительного падежа. С точки зрения семантической: глагол обозначает пассивное действие или состояние объекта. С точки зрения морфолого-словообразовательной: глаголы собственно страдательного залога имеют особый морфологический показатель суффикс *-гда (-гдэ, -гдо)*. Глаголы страдательного залога (пассивные, непереходные) с побудительным значением имеют словообразовательные суффиксы *-уул, -гда, -га*.

Таким образом, в бурятском языке категория залога представлена противопоставлением форм действительного и страдательного залога. В категории залога бурятского глагола тесно переплетены грамматические (морфологические, синтаксические), лексические и словообразовательные значения. Глаголы как действительного, так и страдательного залога могут выступать в побудительном значении при употреблении их со словообразовательными суффиксами с побудительным значением. Глаголы действительного залога могут быть употреблены со словообразовательными суффиксами с взаимно-возвратным и совместно-возвратным значением. Конструкции как с действительным, так и со страдательным оборотом речи могут выступать как трехчленные или двухчленные. Противопоставление глаголов собственно действительного залога и собственно страдательного залога представляет собой формообразование, так как выражает различия только грамматического плана (*haaxa* ‘доить’, *haa<u>гдах</u>а* ‘доится’). Другие залоговые формы представляют собой лексико-грамматические образования, то есть грамматическое значение осложнено словообразовательным значением.

Исследование по изучению залоговых форм глагола в бурятском языке может быть продолжено в плане выявления того, каковы особенности непереходных глаголов в отношении выражения ими субъектно-объектных отношений, какие конструкции они образуют, какие непереходные глаголы могут с помощью словообразовательных суффиксов стать переходными. Таковы перспективы продолжения исследований по проблеме категории залога глагола в бурятском языке.

Литература

1. Егодурова В.М. Глагол в бурятском языке: история изучения. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2001. – 288 с.
2. Егодурова В.М. Бурятский глагол. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2003. – 140 с.

Егодурова Виктория Макаровна, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и исторического языкознания Бурятского государственного университета.
Тел. 89516299596.

УДК 811.512.31:811.16/.1

© *Д.Д. Санжина*

К изучению проблемы интерференции (на материале бурятско-русского двуязычия)

Статья посвящена актуальным вопросам интерференции в условиях бурятско-русского двуязычия. Явление интерференции до недавнего времени рассматривалось только как положительное явление, способствующее обогащению национальных языков, но не любое влияние русского языка на национальные языки является положительным, обогащающим, т.к. на современном этапе появилась опасность деформации языковой структуры национальных языков, в частности, бурятского. В статье рассмотрены конкретные примеры. Ведущим же явлением в процессе взаимодействия двух (или нескольких) языков является интерференция или уподобление языковых элементов одного из контактирующих языков языковым элементам другого.

Ключевые слова: национальные языки, языковая структура, интерференция, взаимодействие, взаимовлияние, контакты, обогащение, деформация, уровень языка, речь, сближение.

D.D. Sanzina

To the study of interference problems (based on the Buryat-Russian bilingualism)

The article is devoted to topical issues of interference in Buryat-Russian bilingualism. The phenomenon of interference, until recently, was considered only as a positive development, contributing to enrich the national language, but not any influence of the Russian language the national language is a positive, enriching, because at present there is a danger of deformation of language structure of national, inter alia, the Buryat language. The article deals with specific examples. Lead is a phenomenon in the process of interaction between two (or more) languages is an interference or a likeness of one of the elements of language contact languages other linguistic elements.

Keywords: national languages, language structure, interference, interaction, mutual influence, contacts, enrichment, strain, level of language, speech, convergence.

Одной из основных проблем, возникающих в условиях национально-русского двуязычия, является проблема интерференции. На современном этапе проблема интерференции родного (национального) языка решается частично в связи с другими вопросами. Чаще всего она обусловлена заимствованием, проникающим из русского языка в национальный язык, методом калькирования, образованием общего лексического фонда в языках нашей страны и т.д. До недавнего прошлого исследование проблемы интерференции носило односторонний характер, в основном она рассматривалась как положительное явление, способствующее обогащению национальных языков.

Однако современная лингвистика не может ограничиваться этим далеко не полным пониманием интерференции, так как основная проблема, возникающая с изучением интерференции, в первую очередь, на наш взгляд, должна сводиться к выявлению того, насколько две контактирующие структуры смогут сохраняться неизменными и в какой степени они будут влиять друг на друга, изменять друг друга.

Само собой разумеется, что рассмотрение проблемы интерференции в таком плане не отрицает позитивные стороны национально-русского двуязычия, а прежде всего, позволяет в полной мере выявить те процессы, которые происходят в национальных языках под влиянием русского.

Итак, не любое влияние русского языка на национальные языки можно считать обогащающим, так как на современном этапе появилась опасность деформации языковой структуры национальных языков.

Известно, что интерференция возможна как на уровне языка, так и на уровне речи. На примере бурятского языка можно заметить, что язык национальной периодической печати и в некоторой степени современной художественной литературы перенасыщен неудачными кальками, появляются небурятские конструкции для перевода грамматических конструкций русского языка. Такая тенденция имеет определенные отрицательные последствия и для родной речи носителей национального языка.

Например: *Майн 24-дэ хотын һургуулинуудта заншалта һүүлшын хонхо үнгэрөө. Энэ жэл* ***һургуулиин хананууднаа*** *2512 арбан нэгэдэхи класс дүүргэһэн һурагшад* ***гаража ябаха,*** *3721 һурагшад юһэдэхи класс дүүргэхэ. Хотын мэр Геннадий Айдаев* ***Стеклозавод һуурин газарай*** *43-дахи һургуулиин һүүлшын хонхын һайндэртэ хабаадаа* (Буряад үнэн. 2008. 29.05) «24 мая в школах города прошел традиционный последний звонок. В этом году 2512 школьников одиннадцатых классов выйдут из стен школы, 3721 ученик окончит девять классов. Мэр города Геннадий Айдаев принял участие в празднике последнего звонка в 43-й школе поселка Стеклозавод». Выделенные примеры являются абсолютно искусственными, в первом случае имеет место прямой перевод русского выражения *из стен школы – һургуулиин хананууднаа*, но так недопустимо писать по-бурятски, ибо ни один носитель родного языка не скажет подобным образом, во вто-

ром – неуместно использование соединительного деепричастия *гаража* с глаголом будущего времени *ябаха,* в третьем примере наблюдается плеоназм – употребление лишнего слова *газарай*. Кроме того, имеется орфографическая ошибка – *һүүрин,* в родительном падеже слово *һүүри,* имеет окончание *-ин,* соответственно должно быть *һүүриин.*

Наблюдения показывают, что в живой речи бурятский язык упрощен до предела. Это означает, что не чувствуются стилистические нюансы языка, в родную речь проникают такие русские слова и словосочетания, которые имеют соответствия в бурятском языке. Например: *Буряад республикэ соо байһан хойноо,* ***наада*** *өөрынгөө* ***интерес*** *табиха. Буряад хэлэеэ хүгжөөхэ гэжэ тиимэ* ***вопрос*** *табяа һаал хойноо* ***наада просто всем взяться за этот вопрос. Почаще передачи, клубтэ*** *буряад* ***наада, пьесэ*** *гаргаха, хүнүүдш* ***с удовольствием будут ходить. Каажда слово ловилжэ*** *байжа умшаха.* ***Заняати*** *хүсэд хэхэ үгэй, гэрһээн буряад хэлэтэй үхибүүдые* ***ородоор учат, потом нам снова их приходится на бурятском переучивать.*** *Би* ***последни время*** *буряад* ***класс*** *абаад ябадаг болооб. Мүнөө жэлэй шэнэ хүн бии болоо,* ***может,*** *дээрэ болохо гү.* ***Мастерство учителя*** *ойлгуулжал үзэхэ юм, багшал* ***творчество проявляалаад*** *лэ һургаха ёһотой. Удаан түргэн аялга гээд лэ шэхэ табигты гэдэг болоолби* (Фрагменты обсуждения состояния преподавания бурятского языка в школах Селенгинского района, запись 2010 г.).

В области грамматики интерференция проявляется в развитии согласования в числе у определения с определяемым, не свойственного бурятскому языку, в активизации функций некоторых падежей (родительного, дательно-местного, орудийного), форманты которых сочетают в себе словоизменительные и словообразовательные функции. В суффиксальной дифференциации по русской модели мужских и женских фамилий, имен, отчеств, которых не было в прошлом у бурят *=ов/=ова, =ович/=овна: Дугаров(а) Саян(а) Доржиевич(вна).* Образование личных имен по русскому образцу при помощи русского суффикса *=а* от мужских имен: *Баир – Баира, Чимит – Чимита.*

Явления лексической интерференции представлены в виде разных форм калькирования слов, словосочетаний, в синтаксисе – калькированными построениями сложноподчиненных союзных предложений, инверсией, пропуском главных членов предложения: *нютагайхиднай – шэнэ фильмдэ* «наши земляки в новом фильме».

Отклонения от норм русской речи у билингвов обусловлены: 1) отсутствием в родном языке некоторых грамматических форм, присущих русскому языку (рода, согласования, предлогов и т.д.); 2) функциональными отличиями грамматических категорий, имеющих соответствие в русском (число, падеж, залог и т.д.). Наиболее типичными являются нарушения: а) согласования в роде определения с определяемым: *мой квартир(а),* б) подлежащего со сказуемым: *лето пришла,* в) нормы склонения: *эта роль не*

играет, поскольку в бурятском языке при глаголах родительный падеж не употребляется, а обычно употребляется винительный падеж.

Русские существительные pluralia tantum реализуются в единственном числе: *купи брюку, дай ножницу,* так как в родном языке они имеют форму единственного числа. Билингвы испытывают также трудность в различении глагольного вида, в частности, при оформлении отрицательных форм: *не сходи.* В бурятском языке глаголы изъявительного наклонения не имеют форму будущего времени, отсюда ошибки, причем обычно предпочтение отдается форме будущего сложного времени: *буду прогуляться.* К характерным ошибкам в русской речи бурят можно отнести неразличение глагольной семантики, нарушение залога: семилетнюю школу переехали сюда (имеется в виду «перевезли») (Запись 1989 г., с. Ташир Селенгинского района) и др.

Анализ бурятского языкового материала показывает, что интерференция в родной речи бурят возникает не только на уровне лексики, но и на уровне фонетики и синтаксиса.

На фонетическом уровне допускается перенос русских орфоэпических особенностей на бурятский языковой материал. Так, в родной речи современных его носителей часто употребляется смычный g – *гараха, газа, Гарма.*

В результате интерференции осуществляется перенос структурных элементов, моделей русского языка на бурятский практически на всех уровнях языка. Правда, проявляется это на разных уровнях по-разному. Фонетическая система обогатилась новыми фонемами: [в], [ф], [ц], [щ], [к]; появились новые фонетические явления (стечение двух и более согласных в начале, конце слова, двух согласных разного качества и др.), раздвинувшие границы традиционных артикуляционных навыков. Становится нормой употребление *Ваася* (а не *Баася*), *киоск* (а не *хёосхо*) билингвами молодого и среднего возраста. Адаптированный же вариант сохраняется в речи пожилых людей, составляя национальный акцент, который выражается также в «опереднении» русских аллофонов *а, о, у, ы.*

Интерференция в области синтаксиса в основном касается нарушения порядка слов в предложении. Под влиянием русского языка возникают предложения, сконструированные по моделям русского предложения. Синтаксис бурятского языка, как известно, характеризуется фиксированным порядком слов в предложении: сначала подлежащее, затем дополнение, обстоятельство и сказуемое. Определение всегда предшествует определяемому. Место слов в предложении указывает на их синтаксическую функцию, не требуя формальных морфологических признаков. Например: *Жаахан басаган гэртээ яаралтайгаар гэшхэбэ* – Маленькая девочка домой быстро зашагала.

В настоящее время под влиянием разговорного бурятского и русского языков часто нарушается прямой порядок слов, что во многом связано с актуальным членением: *Түрүү һаалишан Анисья повестиин героини болоно.*

Тэрэ хадаа ганса бэе эхэнэр. Гэбэшье сэдьхэл бодолоороо тэрэ арюун сэбэр, үндэр мэдэрэлтэй хүн (Буряад үнэн. 1989. 24. 03) – Передовая доярка Анисья героиня повести. Это одинокая женщина. Но душой и мыслями она чиста, человек с высоким сознанием.

Отклонения в родной речи бурят на современном этапе представляют собой чисто речевое явление. Однако известно, что любой факт речи при определенных условиях может превратиться в факт языка.

Бурятский язык почти не употребляется в производственной сфере, однако в сельской местности (в одноязычных коллективах), в среде национальной творческой интеллигенции он используется при общении людей друг с другом достаточно активно. Родной язык все больше превращается в бытовой язык. В настоящее время в республике практически нет людей коренной национальности, не знающих русского языка, который является не только межнациональным языком, он все больше превращается в единственный язык для общения бурят между собой. На русском языке идет обучение во всех учебных заведениях, воспитание в детских садах; это язык всей официально-деловой, научно-общественной деятельности и др.

В Бурятии сложилась типичная для многих национальных регионов страны языковая ситуация одностороннего (бурятско-русского) двуязычия, другой вид двуязычия (русско-бурятский) не развит вообще. Одностороннее двуязычия обусловило в определенной степени упадок культуры родной речи. В этой связи представляется необходимым усиление тех функций бурятского языка, которые связаны с устным общением, улучшением языка радио- и телепередач, при увеличении их продолжительности, проведение культурно-массовой работы на родном языке (большую деятельность в этом направлении проводит Всебурятская ассоциация развития культуры – ВАРК) и многое другое.

Русский язык сыграл большую роль в становлении и развитии газетно-публицистического стиля бурятского языка. Это выражается и в организации лексических средств (широкое включение заимствований, интернационализмов) и в употреблении новых фразеологизмов, словосочетаний различных типов, созданных под влиянием русского языка. Воздействие сказывается и в построении по-новому заголовков статей, например, безфинитных глаголов, что было не характерно в прошлом. Примеры из газеты «Буряад үнэн»: *Хүдэлмэри үргэжэһээр* – Работа расширяется; *Москваагаа бусаа* – Вернулся (в свою) в Москву. В меньшей степени сказалось влияние русского языка на стиль художественной литературы.

Кальки с русских слов и словосочетаний стали появляться уже с середины XIX в. – *уялга* ‘обязательство’, *гомдол* ‘жалоба’, их число увеличивается в советское время с развитием переводческого дела. Причем калькируются не только отдельные слова и словосочетания, представляющие в основном термины, но и целые выражения (пословицы, поговорки и др.), синтаксические обороты, порядок слов, типы предложений. Наиболее рас-

пространены кальки, возникающие в результате буквального перевода: *илалтын үдэр* – день победы, *газарай татаса* – притяжение земли, *аймагай толгойлогшын уялга дүүргэгшэ* – исполняющий обязанности главы района; полукальки: *социальна хүгжэлтэ* – социальное развитие, *арадай депутат* – народный депутат, *тулхабаагүй* – бестолковый. Пословицы, меткие выражения русского языка: *Шоные хүлынь тэжээдэг* – Волка ноги кормят; *Долооniинь нэгэеэ хүлеэдэггүй* – Семеро одного не ждут.

Бурятская культура развивается в тесной взаимосвязи с русской культурой и часто через ее посредство с культурами других народов. Влияние русского языка и литературы сказалось в определенной мере на создании новых бурятских художественных жанров: романа, новеллы, поэмы, сонета. Более четким и дифференцированным (особенно в характеристике речи героев) становится использование литературных и диалектных форм, заимствованных слов и элементов грамматики. В произведения включаются не только заимствованные собственные и нарицательные имена, но практически слова всех частей речи, также служебные слова, междометия, например: *вот, так-так, даа, ага.* Получила развитие новая форма повествования от лица главного героя, широко стали применяться обращения к неодушевленным предметам или отвлеченным понятиям, ранее не свойственные бурятскому языку:

Нэлэнхы Санагам,
Алдар соло нэрыеш
Нэгэтэш хадаа
гутаажа ябаагүйб байхаб,
Угтажа намайгаа,
ногооной долгёор эбхэрһыеш
Уяран дурдахада,
мүнөө ямар һайхам!

Обширная Санага моя,
Славное имя твоё
Ни разу
я не опозорил,
Встречающую меня
зелёной волной
Расчувствовавшись, вспоминать
сейчас как прекрасно!
(М. Самбуев)

Сильное влияние русского языка испытывает бурятский язык средств массовой информации. В печати, особенно в переводах общественно-политического характера, допускается «буквализм», искусственность выражений. Так, весьма искусственным представляется перевод данного примера в газете «Буряад үнэн» (05. 05. 2011) – С докладом о ходе весенне-полевых работ в республике выступил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ – *РБ-гэй хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой министрэй нэгэдэхи орлогшо республикада* ***хабарай тарилгын ябаса*** *тухай элидхээ.*

В переводах художественных произведений с русского языка на бурятский в случаях языкового дефицита, связанного с отсутствием определенного понятия или адекватного названия в собственном языке, отмечаются случаи когда: а) русские слова включаются без перевода – названия музыкальных инструментов (*баян, гитара, пианино, гармонь*), одежды, кушаний (*пальто, костюм, пиво, пирог*), топонимы, антропонимы, этнонимы, назва-

ния праздников, мер, различий (*Романовка, Колесово, Алексей, Галина, башкир, венгр, Покров, Троица, километр, минута, час*); б) переводится часть слова: *хахад метр* ‘полметра’, *Дунда Азии* ‘Средняя Азия’; в) значение слова передается описательно *ткачиха – бүд нэхэгшэ, повар – эдеэ бэлдэгшэ*.

В качестве заключения подчеркнем, что ведущим явлением в процессе взаимодействия двух (или нескольких) языков является интерференция или уподобление языковых элементов одного из контактирующих языков языковым элементам другого. Явление интерференции представляет собой непосредственное проявление главной тенденции процесса взаимодействия языков при двуязычии – сближения структур взаимодействующих языков, установления однозначного соответствия между взаимодействующими языками.

Санжина Дарима Дабаевна, доктор филологических наук, профессор кафедры бурятского языка Национально-гуманитарного института Бурятского государственного университета. E-mail: dsanzhina@yandex.ru

УДК 811.512.36:81

© *Е.В. Сундуева*

Формирование поля нулевой фонации с помощью корневого согласного [m] в монгольских языках

В статье с позиции фоносемантики рассматриваются лексемы монгольских языков со значением ‘молчание, тишина’, образованные от корней с билабиальным сонантом [m]. Анализ показал, что развитие данных значений непосредственно связано с таким акустико-артикуляционным признаком фонемы, как смыкание губ, поскольку именно сомкнутые губы по-своему символизируют отсутствие каких-либо звуков.

Ключевые слова: фоносемантика, артикуляция, кинемика, образ.

E.V. Sundueva

Forming the field of zero phonation by means of root consonant [m] in Mongolian languages

The article from position of phonosemantics examines words of Mongolian languages with meaning ‘silence’, derived form stems with bilabial consonant [m]. The author reveals that this meaning appeared due to such acoustic articulatory characteristics of phoneme [m], as joint of lips, because compressed lips symbolize absence of any sound.

Keywords: phonosemantics, articulation, kinemes, image.

В настоящее время увеличивается количество исследований, посвященных проблемам звуковой изобразительности, целью которых является установление корреляций между артикуляционно-акустическими характери-

стиками звуков и лексической семантикой. Механизм артикуляции носового губного сонанта [m] в монгольских языках не отличается от такового в русском языке. Данный согласный образуется «смыканием губ при одновременном опускании небной занавески, что обусловливает одноканальный выход воздушной струи через полость рта. Губы при этом напрягаются очень слабо. При произнесении носовых звуков раскрытие смычки дает очень слабый взрыв» [1, с. 42].

Многие образные прилагательные с данным согласным в корне характеризуют форму губ, рта: бур. *омогор*, *оомогор* ‘с поджатыми запавшими губами’; стп.-монг. *ömüger*, монг. *өмгөр*, бур. *үмэгэр*, калм. *өмгр* ‘суженный, почти закрытый, сжатый’; стп.-монг. *ǰimeger*, монг. *жимгэр*, бур. *жимэгэр*, калм. *җимһр*, ойр. *җимгер* ‘поджатый’; монг. *амцгар* ‘плоскогубый’; стп.-монг. *emčeger*, монг. *эмцгэр* ‘имеющий заячью губу’; бур. *дамбагар*, *замбагар* ‘толстый, пухлый’; стп.-монг. *šombuγur*, монг. *шомбогор*, бур. *шомбогор* ‘выпяченный, вытянутый’ и др.

Активное участие губ в артикуляции согласного [m] обусловило появление в монгольских языках большого количества антропофонов, в том числе кинем, коррелирующих с семемой ‘рот’: причмокивание, чавканье, приглушенный стон и др. Например, стп.-монг. *šam šam* ‘чавканье’, монг. *шам шам хий-* ‘чавкать; есть’; бур. *шомшор-* ‘прищелкивать, цокать (языком)’; ср.-монг. *simi-*, *sime-*, стп.-монг. *sime-*, монг. *шим-*, бур. *шэмэ-*, калм. *шим-*, ойр. *шиме-*, орд. *sime-*, мог. *simi-*, даг. *sime-*, *simi-*, ж.-уйг. *šəme-*, монгор. *šəme-*, *šəmu-*, *šimu-* [2, с. 1328] ‘высасывать сок; смаковать какой-л. напиток’; стп.-монг. *tamsiya-*, монг. *тамшаа-*, бур. *тамшаа-*, калм. *тамша-*, ойр. *тамшаа-* ‘чавкать’; стп.-монг. *emkü-*, *ümkü-*, монг. *үмхэ-*, бур. *үмхэ-*, калм. *омх-*, *үмк-*, ойр. *үмке-*, орд. *uŋku-*, даг. *unku-*, *umku-*, монгор. *uŋkwā-* [2, с. 505] ‘класть в рот; куснуть, откусывать’ и др.

Кроме того, выявлен ряд лексем различной огласовки, в которых корневой согласный [m] служит для образования поля нулевой фонации как репрезентации тишины, безмолвия, молчания: стп.-монг. *em ǰim* [3, с. 218], монг. *эм жим* ‘безмолвие, ничем не нарушаемая тишина’; стп.-монг. *im čim*, *im ǰim* ‘глубокое молчание, внимание’ [3, с. 312], монг. *им жим* ‘тихо, безмолвно, бесшумно’; стп.-монг. *ǰimir*, монг. *жимэр* ‘тишь да гладь; без забот; тишина, покой, умиротворение’; стп.-монг. *dömüger*, монг. *дөмгөр* ‘тихий, спокойный, уравновешенный’; стп.-монг. *nam güm* [3, с. 594], монг. *нам гүм*, бур. *нам*, калм. *нам*, ойр. *нам* ‘тихий, спокойный’, бур. *нэм* ‘тихий, защищенный’; ср.-монг. *namuγan*, *nomuγan*, стп.-монг. *namuγun*, монг. *намуун* ‘тихий, слабый, нежный’; пкл.-монг. *nomuqan* [4, с. 486], стп.-монг. *nomuqan* [3, с. 690], монг. *номгон*, бур. *номгон*, калм. *номһн*, калм. *номхон* ‘смирный, спокойный, тихий’ и пр.

В Алтайском словаре протомонг. **nomu-/neme-/nima-* ‘спокойный, кроткий, мягкий, нежный’ сопоставляется с прототунг. **ńume-/ńama/ńem-* ‘теп-

лый; мягкий; спокойный; слабый, расслабленный' и прототюрк. **jɨm-ĺča-k* 'мягкий'. По предположению авторов издания, первоначальным значением должно было быть 'мягкий, нежный (в целом и в частности, о погоде, фруктах и пр.)' [2, с. 992–993].

В тунгусо-маньчжурских языках распространены следующие лексемы с идентичной семантикой: нег. *хэмэ*, ороч. *хэмэ*, ульч. *хэмэ*, орок. *хэмэ*, нан. *хэм-хэм* 'молча, тихо'; маньчж. *мими-* 'зажимать рот; не говорить, молчать'; ороч. *мэмэ* 'немой', маньчж. *момоқори-* 'безмолвно, молча'; эвенк. *н'имин-* 'сжать рот, поджать губы'; эвенк. *ӈэму:лэ:-* 'молчать, сидеть молча' [5, с. 481, 537, 567, 669], эвен. *омта:н-* 'молчать', эвенк. *омуj* 'гостеприимный; приветливый, обходительный'; эвенк. *симу:ла:-* 'молчать', нег. *симухин* 'молчаливый', уд. *сим-сим* 'молча', ульч. *сим очо-* 'замолкнуть', нан. *симчэкэ:* 'тишина'; эвенк. *сумкэт-*, нег. *сумэ:т-*, ульч. *сумэчи-* 'таить, молчать, умалчивать о чем-л.'; эвенк. *тамурга-* 'замолчать' [6, с. 18, 88, 160].

Развитие в указанных словах сем 'тишина; молчание', по всей видимости, связано с тем, что сомкнутые губы по-своему символизируют отсутствие каких-либо звуков. Ср. значения глагола маньчж. *мими-* 'зажимать рот; не говорить, молчать' [5, с. 537]. В основе монг. **dümb* значение 'равнодушный' возникло на базе значения 'надувший губы; молчаливый': монг. *дуу шуугүй дүмбий-* 'молчать', досл. 'без звука надуться'. Здесь мы имеем дело с соотнесенностью артикуляторных характеристик согласного [m] с сенсорно-эмоциональными характеристиками денотата.

Как видно из значений примеров, фонема [m] в корне передает как отсутствие звуков, шумов, так и душевное спокойствие, умиротворение. Данные семы также проявляются с помощью корней **am/amγ*: стп.-монг. *amar*, монг. *амар*, бур. *амар*, калм. *амр*, ойр. *амар* 'спокойствие, благополучие'; пкл.-монг. *amuγulang* [4, т. II, с. 299], стп.-монг. *amuγulang* [3, с. 108], монг. *амгалан*, бур. *амгалан*, калм. *амулң*, ойр. *амһалаң* 'мир, покой; тишина, умиротворение'. Значение 'спокойствие' восстанавливается в идентичных корнях других алтайских языков: Прототунг. **ām-* 'спать, хотеть спать', Прототюрк. *ăm-* 'тихий, спокойный; любить, радоваться; вежливость; милый; быть спокойным' [2, с. 298–299].

Закономерно, что в ряде случаев сема 'тишина' влечет за собой 'осторожность': стп.-монг. *dam dum*, монг. *дам-дум* 'с опаской' (ср. *дам үг* 'слух, молва'); ср.-монг. *sem*, *sim*, пкл.-монг. *sem* [Tum. 550], стп.-монг. *sem* [3, с. 1357], монг. *сэм*, калм. *цем*, ойр. *сем*, орд. *semēr*, дунс. *śiəmə*, бао. *somkənaŋ*, ж.-уйг. *semēr*, моногр. *səmugēr* [2, с. 1516] 'тихо, крадучись; бесшумно, тайно'; бур. *дүмүү* 'осторожный'; *сүмөөнөөр* 'осторожно, неслышно; налегке'.

Однако в значении некоторых слов все же проявляется сема 'звук, шум': стп.-монг. *imege čimege* 'шум, гул, крик', *čim-e* 'крик; звук; молва' [3, с. 310, 2167], монг. *имээ* 'шум, гул, крик; слухи'; монг. *чимээ*, бур. *шэ-*

мээ, калм. *чимән*, орд. *čimē*, моногр. *čimē* [2, с. 1426] ‘шум, звук’. По всей вероятности, эти лексемы первоначально обозначали тихие звуки: калм. *шимлд-*, ойр. *шименде-* ‘шептать, нашептывать’. Здесь, по всей видимости, мы имеем дело с внутренней антонимией, или энантиосемией, ср. нем. *rauschen* ‘грохотать; шелестеть’, но *raunen* ‘шептать, шелестеть; грохотать, рокотать’. Громкий звук различим в стп.-монг. *bömbür*, монг. *бөмбөр* ‘барабан’. Идеофон нан. *гэм-м* – о слабо уловимом гомоне людей [5, с. 669] можно сопоставить с рус. *гомон*, укр. *гомін*, чешск. *homon*, польск. *gomon* ‘ссора, шум’.

Функционирование в языке корней **ǰim* ‘тишина’ и *čim* ‘шум’ подтверждает то, что сфера тишины как репрезентация отсутствия звуков связана как с отсутствием движения (покоем), так и с наличием слабо выраженных звуковых сигналов. Это, в свою очередь, свидетельствует о диффузном характере сферы тишины в пределах общей звуковой сферы и об отсутствии четких границ между звуком и его отсутствием в слуховом восприятии. Возможно, поэтому в эвенкийском языке ‘тишина’ репрезентируется с помощью корня **čer*: *чэру:ли:* ‘тишина, спокойствие, покой’, *чэру:лэǰэ* ‘тихий, спокойный; тихо, бесшумно (о природе)’ [6, с. 422]. Ср. рус. *звенящая тишина*.

К форме *čimege* авторы EDAL приводят следующие алтайские параллели: Прототунг. **tim-* ‘затишье (о погоде); притихнув, примолкнув; шевелить губами, ворчать; тишина (ночью в лесу)’; Прототюрк. **Tiŋ(mi)* ‘звук; говорить; ворчать’; Пяп. **tàmár-* ‘молчать’; Пкор. **tamɨr-* ‘закрывать рот, молчать’ [2, с. 1426–1427].

В тюркских языках функционируют корни *тым/дым* со значениями ‘умолкать, замолкать; безмолвно, молча; молчаливый, спокойный; осторожно, исподтишка’: ср. каз. *тым-тырыс* ‘безмолвие’, ккалп. *тым-тырс* ‘тишина, пауза’ [7, с. 340–341].

Примечательна природа лексемы ср.-монг. *sumun*, пкл.-монг. *sumun* [4, с. 555], стп.-монг. *sumun* [3, с. 1403], монг. *сум*, бур. *һомон*, калм. *сумн*, ойр. *суман*, дунс. *суму*, мог. *some* ‘пуля; патрон; гильза; стрела’. Корневая звукоподражательная морфема **sum* наглядно отображает последовательность дифференциальных признаков звучания отпущенной стрелы и делает возможным ментальное разложение данного звучания в своеобразный артикуляционный спектр. Известно, что пущенная стрела свистит, т.е. начинается звучание с фонемы [s], далее переходя в гласный [u], раздающийся в момент рассекания воздуха оперением стрелы. И, наконец, согласный [m] моделирует распространение звуковой волны и символизирует стихание, а в дальнейшем полное исчезновение звука полета стрелы: монг. *сүн хий-* ‘свистеть, выть (о стреле, пуле, ветре); нестись, мчаться (о самолете, машине, всаднике и т.д.)’. Фонетически и семантически близок англ. глагол *zoom* ‘взмыть, поднять вверх’. Ср. также эвенк. *чумри-*, *чуӈри-* ‘звучать, раздаваться (об эхо в воде)’, *чумрин* ‘эхо в воде’ [6, с. 414].

Как отмечает С. В. Воронин, при передаче чисто шумовых континуантов, обозначающих собственно шум в его наиболее чистом виде, обязательное наличие хотя бы одного фрикативного (в анлауте либо в ауслауте) отнюдь не случайно. Глухой характер фрикативных обусловлен глухим, т.е. чисто шумовым характером изображаемого звучания. Ср. англ. *whistle* ‘свистеть’, *hiss* ‘шипеть; свистеть’, башк. *syj* ‘свист от быстрого движения’, индонез. *sit* ‘шипение, свист хлыста’ [8, с. 52], стп.-монг. *isgere-*, монг. *исгэрэ-* ‘свистеть, присвистывать’.

Схожий мотив номинации, по всей видимости, действовал в стп.-монг. *sümbü*, монг. *сүмбэ*, калм. *сүм* ‘шомпол’, а также в пкл.-монг. *tömüge* [4, т. I, с. 589], стп.-монг. *tömüge* ‘алебарда, бердыш’ [3, с. 1924], монг. *төмөө* ‘*уст.* алебарда’, где [t] передает глухой звук удара. Тюрк. *сүмме~сүме* ‘шомпол; штык; бородок (кузнечный инструмент для пробивания отверстий в железе)’, по предположению М. Рясянена, имеет монгольское происхождение. Л. С. Левитская вслед за Г. Яррингом и К. Юдахиным относит тюрк. *сүмбэ*, *сүмбө* к иранским заимствованиям [9, с. 380–381].

Стп.-монг. *čöt*, монг. *цөм*, бур. *сүм*, ойр. *цөм* сопровождает процесс пробивания (насквозь), соответствуя приставкам *про-*, *об-*, *из-*, *ис-*, *рас-*: бур. *сүм буу-* ‘обвалиться’, *сүм гэшхэ-* ‘растаптывать’; стп.-монг. *čömüre-* [3, с. 2226], монг. *цөмрө-*, бур. *сүмэр-*, калм. *цөмр-* ‘проламываться, проваливаться’; стп.-монг. *čömüle-*, монг. *цөмлө-*, ойр. *цөмел-* ‘пробивать, протыкать’. Ср. эвенк. *умрэ:-* ‘проваливаться (в снегу)’ [6, с. 268]. Корень **čöt* в значении ‘проваливаться’ разложим на фоносемантические компоненты: [č] передает шорох, шелест земли, песка при обвале, [m] – тихий, постепенно исчезающий звук.

Рассмотренные в данном разделе лексемы вытекают из изобразительного потенциала [m] как губно-губного звука, передающего значения ‘тишина; молчание; спокойствие’ и др. Здесь принципиальное значение имеет как место артикуляции – губы, так и способ артикуляции – сжимание губ, поскольку именно они послужили источником символизации признаков в процессе номинации.

Это подтверждает наблюдение А. М. Газова-Гинзберга о том, что «такие движения рта и носа, не являющиеся самостоятельными физиологическими актами, в большинстве языков не имеют специальных названий; однако эти движения нередко служат мимическими подражаниями процессам и формам внешней природы, и порождаемые такими движениями звуковые комплексы впоследствии становятся, замещая саму мимику, обозначениями изображаемых внешних процессов» [8, с. 73]. Таким образом, физиологическое восприятие звука и, соответственно, его психологическая дешифровка напрямую зависят от его физических характеристик.

Литература

1. Бураев И.Д. Становление звукового строя бурятского языка. – Новосибирск : Наука, 1987. – 185 с.

2. EDAL – Starostin S., Dybo A., Mudrak O. (with assistance of Ilya Gruntov and Vladimir Glumov). Etymological Dictionary of the Altaic Languages. – Leiden; Boston : Brill, 2003. – Part I. A–K, Part II. L–Z, Part III. Indices. – 2096 p.

3. Kowalewski J. E. Dictionnaire mongol-russe-français. – Kasan : Imprimerie de l'Université, 1849. – V. I-III. – 2690 p.

Tumurtogoo D., Cecegdari G. Monuments in Uighur-Mongolian Script (XIII-XVI centuries) Introduction, Transcription and Bibliography, Academia Sinica, Institute of Linguistics. – Taipei, Taiwan, 2006. – 726 p. (Language and Linguistics Monographs Series A 11).

4. ССТМЯ, 1975 – Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. – Л. : Наука, 1975. – Т. I. – 672 с.

ССТМЯ, 1977 – Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. – Л. : Наука, 1977. – Т. II. – 471 с.

5. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские лексические основы на буквы «В», «Г», «Д» / авт. сл. ст. Э. В. Севортян. – М. : Наука, 1980. – 392 с.

6. Воронин С. В. Фоносемантика и этимология // Диахроническая германистика: межвуз. сб. ст. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 1997. – С. 131–171.

7. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на буквы «Jl», «М», «Н», «П», «С». – М. : Восточная литература РАН, 2003. – 443 с.

8. Газов-Гинзберг А.М. Был ли язык изобразителен в своих истоках? (свидетельство прасемитского запаса корней). – М. : Наука, 1965. – 183 с.

Список сокращений

англ. – английский
башк. – башкирский
бао. – баоаньский
бур. – бурятский
даг. – дагурский
дунс. – дунсянский
ж.-уйг. – желто-уйгурский
индонез. – индонезийский
каз. – казахский
калм. – калмыцкий
ккалп. – каракалпакский
маньчж. – маньчжурский
монг. – халха-монгольский
мог. – могольский
монгор. – монгорский
нан. – нанайский
нег. – негидальский
ойр. – язык ойратов Синьцзяна
орд. – ордосский
орок. – орокский
ороч. – орочский
пкл.-монг. – преклассический монгольский
польск. – польский
прототунг. – прототунгусо-маньчжурский
протомонг. – протомонгольский
прототюрк. – прототюркский
рус. – русский
стп.-монг. – старописьменный монгольский
тюрк. – тюркский
уд. – удэгейский
укр. – украинский
ульч. – ульчский
чешск. – чешский
эвенк. – эвенкийский

Сундуева Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, доц., ст. научный сотрудник отдела языкознания Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: sundueva@mail.ru

УДК 811.512.31

© *Д.Ш. Харанутова*

Фоносемантический способ словообразования

В работе ставится под сомнение положение о фонетическом способе словообразования как о способе, демонстрирующем в качестве словообразовательного средства – чередование фонем. Обосновывается положение, что суть процесса образования таких слов основывается на функциональной значимости или значении, вкладываемом носителями языка в используемый звук.

Ключевые слова: способы словообразования, звук, семантика звука, дериваты, деривационные отношения.

D.Sh. Kharanutova

Phonosemantic method of word formation

In issue questioned the position of the phonetic method of derivation as a way, demonstrating the formative tool – the alternation of phonemes. The position that the essence of the formation of such words is based on the functional significance or value, invested in the sound by the native speakers, is substantiated.

Keywords: derivation methods, sound, sound semantics, derivates, derivational relations.

В монголоведении традиционно выделяется фонетический способ образования слов, под которым понимается образование дериватов при помощи чередования звуков (чередование гласных переднего и заднего рядов внутри корня, чередование согласных внутри корня; по месту чередования различают чередования в корневых и некорневых морфемах) [1; 3; 4; 5; 6; 9]. Также суть фонетического способа понимается как фонетическая филиация, фонетическое расщепление слов путем чередования звуков. Более того утверждается, что в монгольских языках образование слов путем замены звуков было продуктивным в ранний период развития языка; этот способ предшествовал аффиксации и сингармонии в монгольском языке [6, с.14].

Одним из первых функционально-семантическую роль фонем при образовании слов в письменном языке отметил Б.Я. Владимирцов, указав на чередование гласных заднего и переднего ряда при различении рода в наименовании лиц. «Существует довольно значительное количество слов, которые с фонетической точки зрения отличаются друг от друга тем, что принадлежат к заднему – гуттуральному ряду, а другие – к переднему – палатальному, сохраняя по большей части одно и то же значение, или же семантически они оказываются очень близкими <…>, иногда слово гуттурального ряда обозначает мужской род, а слово палатального ряда – женский» [4, с. 126-127].

По мнению Т.А. Бертагаева, образование слов в монгольских языках происходит не только путем чередования гласных заднего и переднего рядов, оно свойственно и гласным одного ряда, а также согласным. Далее

высказывается предположение, что фонематическое чередование первоначально возникло как признак дифференциации по социальной значимости: *аха* ‘старший брат, старший вообще’, *эхэ* ‘мать’; *ахаши* ‘старшие вообще’, *эгэшэ* ‘старшая сестра, старшие по годам женщины’ [2, с. 169-170]. «У халхасцев при разговоре со старшими, чтобы подчеркнуть свое почтительное отношение, принято говорить «джаа, джээ» ‘ладно, хорошо, да’; к младшим или равным обращаются в его озвонченной свистящей разновидности «дзаа, дзээ». Это почтительное обращение к старшим связано не только с возрастным старшинством, но в условиях феодального общества – с социальным» [3, с. 190], т.е. случаи замены звуков интерпретируются как средства деления слов по социальной значимости, стилистической окраске.

И.О. Хинхаева, исследуя данное явление в монгольском языке, пишет: «Процесс фонетической филиации протекал на фоне нестабильности фонетической нормы, которая была сильна в предшествующий период и была особенно заметна на вокализме непервых слогов слов в разговорной речи. Импульсом к фонетическому расщеплению слов и установлению более стабильной фонетической нормы стала необходимость уточнения нечетких и смешанных понятий. Результатом этого процесса стало появление слов – вариантов, могущих замещать друг друга в любом контексте и слов – дериватов, среди которых есть слова, варьирующиеся в стилистическом плане, например, разг. *гэц* и лит. *хэц* ‘бубен’; *мэндлэх* ‘рождаться (о людях)’ и *мөндлөх* ‘приносить потомство (о животных)’, и слова со смысловой дифференциацией» [9, с. 116].

На наш взгляд, в этих примерах продемонстрировано не чередование звуков, ведь чередование звуков возникает при определенных фонетических условиях, в какой-либо позиции; чередование звуков – это всегда результат каких-то фонетических процессов. В данном случае налицо фонемная дистрибуция, которая, возможно, определяет способ обозначения реалий внеязыковой действительности, основанный на использовании определенных структурных организаций. Все это ставит под сомнение положение о фонетическом способе словообразования как о способе, демонстрирующем в качестве словообразовательного средства чередование фонем.

К данному способу словообразования необоснованно отнесены некоторые морфонологические явления и контаминационный способ словообразования, к фонетическому способу словообразования мы обратимся далее.

Итак, данные слова не связаны между собой деривационными связями, но понятие *фонематические дериваты* (термин Т.А. Бертагаева) как нельзя лучше показывает суть процесса образования слова на основании функциональной значимости или значения, вкладываемого носителями языка в используемый звук. Думается, способ образования слов типа *балхагар, шалхагар, далхагар, палхагар* и *бомбогор, бөмбөгөр*, *бамбагар, бэмбэгэр* можно объяснить с точки зрения фоносемантики, в концепции которой звук является знаком и обладает значением, которое носит коннотативный

характер. Фоносемантика – один из развивающихся разделов лингвистики. Современные исследования в этой области опровергают точку зрения о том, что звук не имеет смысла, значения. Сторонники фоносемантичекого направления считают, что наряду с цветовой характеристикой, «звуковым почерком» важным компонентом фонетического значения являются семантико-коннотативные признаки звуков. На наш взгляд, способ образования слов типа *эмэ, эрэ* следует именовать как фоносемантический. Как отмечает Е.В. Сундуева, при помощи согласных [r] и [m] в монгольских языках «реализуется диада «мужской (эр) – женский (эм)», представляющая собой фундаментальную оппозиционную пару, которая занимает важное место в ряду представлений, отображающих модель мира»: *эрэ* ‘мужчина’ – *эмэ* ‘женщина’. Более того, данные фонемы «формируют такие базовые оппозиции, как «громкий – тихий», «острый – круглый», «яркий – тусклый», «кислый – сладкий», «шершавый – пушистый», «твердый – мягкий», «грубый – нежный» [8, с. 8].

В составе ряда производных слов, образованных фоносемантическим способом, встречаются разные оппозиции, например, оппозиция твердорядных и мягкорядных гласных, позиция твердости и мягкости, которые при этом выполняют смыслоразличительную функцию. Словообразование слов типа *эмэ, эрэ* базируется на универсальном символизме, присущем определенным фонемам [10; с. 8], но деривационных связей между этой парой слов не наблюдается.

Так, например, с фонемой [а] и другими заднеязычными ассоциируется представление о чем-то или ком-то лохматом, распростёртом, грубом, большом; с [э] и другими переднеязычными – представление о меньшей распростёртости, лёгкости; [о] связана с промежуточным по окраске образом; [е] и [у] в меньшей степени информативны, а [у] и [и] нейтральный.

Гласный звук [а] связан, кроме того, с передачей женского начала, как и [м]: *бамбагар // бэмбэгэр // бомбогор // бөмбөгөр*; *арбайх* ‘быть распростёртым, плоским, торчащим в разные стороны’ // *орбойх* ‘быть раскидисто-приподнятым и в то же время собранно-выпуклым’. Фонема [д] передает представление о чем-то твердом и негибком, [т] – о сравнительно мягком и гибком [2].

Эту же закономерность отмечает и Л.Д. Шагдаров: «Слова, включающие в свой состав гласные твердого ряда, обозначают что-то значительное, большое по размеру, тогда как слова с гласными мягкого ряда – слабое, малое» [10, с.112]. Далее в работе отмечается еще одна закономерность в образовании изобразительных слов бурятского языка: «Слова, в которых чередуются только начальные согласные или согласные в середине слова, более близкие по значению, чем слова, имеющие одинаковый состав согласных, но отличающиеся гласными первых слогов: если первые употребляются для обозначения свойств одних и тех же предметов, то вторые, создавая свой, собственный ряд, могут характеризовать разные предметы дей-

ствительности» [10, с. 112].

И действительно, как подтверждают вышеприведенные примеры, слова, в которых чередуются начальные согласные (*балхагар, шалхагар, далхагар, палхагар*), употребляются для обозначения рыхлости, пухлости, обрюзглости человеческого тела, тогда как слова, в которых чередуются гласные звуки, характеризуют различные предметы: *балхагар* ‘пухлое’ (только о теле), *булхагар* ‘о щеках или предметах, напоминающих щеки’, *болхогор* ‘вздутые, шишкообразные, мягкие предметы’, *билхагар* ‘расплывающиеся, студенистые’, *бүлхэгэр* ‘с пухлыми веками; надутые предметы’ [1, с. 126]. В работе И.О. Хинхаевой приводится пример: *бомбогор* ‘пухленький, круглый, полненький’ // *бөмбөгөр* ‘круглый, выпуклый, куполообразный’ // *бамбагар* ‘толстый, мягкий, рыхлый’ // *бэмбэгэр* ‘что-то пухленько-воздушное, легкое, слегка приподнятое и сжатое’ (например, *бомбогор хацар, бөмбөгөр араг, бэмбэгэр туулай); бантагар* ‘толстый, пухлый’ // *мантагар* ‘широколицый, крепкий’; *аайдах* ‘быть слишком коротким’ // *оойдох* ‘быть куцым’; *ангархай* ‘открытый’ // *онгорхой* ‘отверстие’ [9].

В этом же русле Е.В. Сундуевой проведено фоносемантическое исследование лексем с корневыми согласными [r / m] в монгольских языках [8].

Попробуем проиллюстрировать коннотативную семантику фонем [ү] и [о] на примере дериватов гнезда, где вершиной являются основы *шоб-* и *шүб-*, образованные фоносемантическим способом. Например, от основы *шоб-* образованы производные со следующими значениями: *шобхо* ‘1) остроконечный’; *шобогор* ‘1. 1) конусообразный, остроконечный (например, пик); 2) сдавленный (о голове); 2. в знач. холм(ик), возвышенность, небольшая вершина; шишка на чем-л.’; *шобойхо* ‘быть (или становиться) остроконечным; торчать, выдаваться’. Видимо, основа *шүб-* ассоциируется с представлением о большей заостренности, чем *шоб*, ведь именно от нее образованы дериваты: *шүбгэ* ‘1. 1) шило; 2) парн. к *хутага* нож; 3) *зап.* вилка; 2. *атр.* как шило’; *шүбэгэр* ‘острый’; *шүбгэдэхэ* ‘прокалывать шилом’. На примере дериватов данных гнезд четко видна дифференциация фонем [ү] и [о], имеющих свое коннотативное значение.

Невозможно представить, что какая-то из этих основ, *шоб-* или *шүб-*, является мотивирующей основой, а другая – мотивированной. Неясно, что является в данном случае словообразовательным средством, какое словообразовательное значение имеет производное слово, если мы выясним, что какое-то из них производное. Предполагаем, что в основе образования данных дериватов лежит коннотативная семантика звука, но эта пара не связана деривационными связями. Поэтому речь об образовании слов путем замены звуков (или чередовании фонем) или филиации фонем, конечно, не идет.

Что касается образования монгольских слов типа *сара* ‘месяц’ и *саран* ‘луна’ (в бурятском *һара* и *һаран)*, *үндэсэ* ‘нация’ и *үндэсэн* ‘корень’ (в бурятском *үндэһэ* и *үндэһэн)* и т.д., приводимых Т.А. Бертагаевым в качестве

примера неустойчивости фонетической нормы, то оно связывается с «отсечением» конечного «н». На наш взгляд, в данном случае при образовании слова используется операционный способ – сокращение, а фонетический способ словообразования здесь не причем. Далее, закрепление заднего «у» в западных говорах в противоположность заднему «о» в восточных говорах, стабилизация палатализованного «х» вместо палатализованных «с» и «т» и др. в эхирит-булагатском говоре [3, с. 120], о которых пишет Т.А. Бертагаев, связано именно с расщеплением (филиацией) многозначного слова, подкрепленного звуковыми вариациями диалектных говоров бурятского языка.

В связи с данными примерами, нам кажется, нужно говорить о системных связях лексической парадигматики и фоносемантики. В основе парадигматических отношений в лексикологии лежат сходства и различия лексического значения слов. Слова объединяются в парадигмы на основе интегральных семантических признаков и разграничиваются семантическими дифференциальными признаками. Тот факт, что звук обладает значением, позволяет предположить, что лексическая парадигматика строится не только на семных взаимодействиях, но и на фоносемантических. В частности, синонимическая пара – это объединение слов с тождественными или близкими лексическим и фоносемантическим значениями, тут явно прослеживается четкая тенденция к взаимосвязи лексического и фоносемантического значений. Например, в словах *гадаа* и *газаа* ‘вне, снаружи (дома), на улице, на воле, под открытым небом, наружу, на улицу’ обнаруживается семантическое тождество или близость, т.е. перед нами варианты одного слова. Кстати, в БРС в словарной статье *гадаа* приводится помета см. *газаа* [11, с. 187]. По мнению Т.А. Бертагаева, «виновата» в данном случае неустойчивость фонетической нормы, вызванная неразличением в некоторых говорах звуков [з] и [д], как, например, в словах *досоо* и *зосоо* ‘внутри’. То же самое касается заднеязычных [х] и [г], переднеязычных зубных [т] и [д]. Думается, что в данном случае речь идет именно о семантическом расщеплении многозначного слова, спровоцированного неразличением в некоторых говорах звуков [з] и [д] и др. В остальных дериватах гнезда, к каковым относятся данные слова, уже чувствуется разница в оттенках значения, которая усиливается с рождением новых дериватов: *гадар* ‘внешний покров, наружная сторона, верх чего-л.; *зоол.* панцирь’ // *газар* ‘1) земля, почва, грунт; 2) земля, мир, пространство’. Данное явление подтверждает предположение о семантической филиации слова, по мнению Т.А. Бертагаева, тесно связанной с расщеплением звуков.

В современном литературном бурятском языке были попытки искусственного образования дериватов посредством фонетического изменения слова. По мнению У-Ж.Ш. Дондукова, слова типа *урадхал* ‘течение, поток, ток’ и *урасхал перен.* ‘течение’ (политический термин) образованы фонетическим способом, при образовании деривата предпринята фонетико-семантическая дифференциация понятий [5, с. 17]. На самом деле, в дан-

ном случае использованы бурятский и старомонгольский варианты данного слова, благодаря которому появились варианты одного слова *урадхаха* и *урасхаха* ‘течь’, от которых и образовались отглагольные существительные *урадхал* и *урасхал*, на это указывал Ц.Б. Цыдендамбаев. Далее проведена преднамеренная фонетическо-семантическая дифференциация понятий. Данный способ по своей сути являлся искусственным и использовался при образовании терминов политического, научно-технического содержания. Оба образовавшихся слова (с прежним и измененным фонетическим обликом) существуют в языке самостоятельно [5, с. 17].

Подтверждение или опровержение данных выводов можно получить только при дальнейшем исследовании проблемы звукосимволизма, семантико-коннотативных признаков бурятских звуков, свидетельства использования данных признаков в качестве словообразовательного средства.

Таким образом, выявление взаимодействия фоносемантики и лексической парадигматики открывает путь для дальнейшего изучения данного взаимодействия на примере других лексических парадигм (например, тематической, гиперо-гипонимической), для системного рассмотрения языковых явлений. Подобный подход открывает широкие перспективы для изысканий не только в области лексической семантики, фоносемантики, но и словообразования монгольских языков: определению продуктивных словообразовательных моделей, словообразовательных типов как в диахроническом аспекте, так и в синхроническом.

Литература

1. Андреева С. В. Способы словообразования в бурятском и русском языках: сопоставительно-типологическое исследование. –Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1998. – 146 с.

2. Бертагаев Т.А. Лексика современных монгольских литературных языков (на материале монгольского и бурятского). – М.: Наука, 1974. – 383 с.

3. Бертагаев Т.А. Влияние русского языка на развитие смысловой системы литературного бурят-монгольского языка // Зап. БМ НИИКЭ. – Улан-Удэ, 1948. – Вып. 1. – С. 31-77.

4. Владимирцов Б.Я. Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. – Л.: Изд-во Ленингр. Вост. ин-та, 1929. – 435 с.

5. Дондуков У-Ж.Ш. О развитии терминологии в бурятском языке. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1970. – 78 с.

6. Дондуков У-Ж.Ш. Словообразование монгольских языков. – Улан-Удэ: Изд. БГПИ им. Д. Банзарова, 1993. – 196 с.

7. Дондуков У-Ж.Ш. Развитие лексики монгольских языков. Кн. 1. – Улан-Удэ: ГУП «Издательский дом «Буряад үнэн». – 2004. – 288 с.

8. Сундуева Е.В. Звуки и образы: фоносемантическое исследование лексем с корневыми согласными [r/m] в монгольских языках. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. – 344 с.

9. Хинхаева И.О. Словообразование монгольского и английского языков. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2006. – 144 с.

10. Шагдаров Л.Д. Изобразительные слова в современном бурятском языке. – Улан-Удэ: Изд-во БКНШ АН СССР, 1962. – 149 с.

11. Бурятско-русский словарь. – Улан-Удэ, 2006.

Харанутова Дарима Шагдуровна, доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка Бурятского государственного университета. E-mail: dkharanutova@mail.ru

V. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ФОЛЬКЛОРИСТИКА

УДК 821. 161. 1. 09

© *М.Д. Данчинова*

Маленькие бездны человеческой природы в рассказах А.П. Чехова

В статье рассматривается образная система в рассказах Чехова, выявлены особенности человеческой природы в видении автора.

Ключевые слова: образная система, герой, человеческая природа, особенности человека, черты героя.

M.D. Danchinova

Shallow deeps of a human nature in A.P. Chekhov's short stories

In the article the author analyzes the system of images in short stories of A.P. Chekhov, outlined specific features of a human nature in the author's vision.

Keywords: system of images, hero, human's nature, man's features, hero's features.

Предметом чеховского рассказа не случайно является совокупность повседневной жизни, реальные черты современной действительности. Создаваемая в видении писателя жизнь оказывается обыденной, будничной, простой. Намеренность данного художественного представления очевидна: за внешним обманчивым благополучием автор обнаруживает трагические стороны человеческой жизни, бездны в самой природе человека.

В раскрытии незаметных, маленьких проблем, на первый взгляд, писатель необычайно краток. Однако в самых разнообразных произведениях («Хамелеон», «Маленькая польза», «Припадок», «Человек в футляре», «Крыжовник», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Тоска» и др.) данная краткость вбирает в себя определенную эпичность, которая раскрывается множеством невероятных ситуаций, стечением ряда обстоятельств в жизни одного человека.

С позиции Чехова, ежеминутно разыгрывающиеся трагедии, преступления никого не беспокоят, не потрясают, не мешают людям спать удовлетворяться маленьким животным счастьем. Главное в том, что причины зла писатель видит в примиренности самого человека с подобными явлениями. Так, герой рассказа «Припадок», человек душевный, совестливый, умеющий не просто чувствовать чужую боль, но и способный разделить ее с попавшим в беду, испытывает глубокое потрясение, посещая публичные дома. Ситуация рассказа незатейлива. В произведении нет особых драматических событий. Никто не страдает, не испытывает боль, не терзается угрызениями совести. Плачущая женщина оказывается просто пьяной. Однако это-то и страшно для героя.

Для автора трагична сама будничность зла. Поражающее равнодушие к нему со стороны, казалось бы, умных, культурных людей (спутников Ва-

сильева), а также самих публичных женщин. Это дает толчок к глубоким размышлениям о существующем в жизни социума неблагополучии. Приятие обыденности, будничности зла человеком сокрушает писателя, угнетает до боли в груди. В этом отношении в произведениях Чехова закономерно отсутствует ставка на счастливое разрешение сложившейся проблемы. Именно «мелкость» – эпизодность жизни важны Чехову, так как только в таком художественном плане высвечивается весь процесс душевной эволюции человека. При этом Чехов, в отличие от Толстого, представляет не весь процесс душевного становления, а лишь главные его этапы, особые переломные моменты.

Данные моменты, внешне неожиданные, но тонко мотивированные, приводящие к сдвигу в сознании героя, прозрение и познание им новых истин и составляет кульминацию произведения. «Неожиданное» для героя, но закономерное, с точки зрения психологии и автора, прозрение человека выливается в определенное действие субъекта произведения, в его резкий разрыв со средой («Невеста»), в горькое позднее осознание того, что жить по-прежнему невозможно («Учитель словесности»).

Чем меньше в человеке человеческого, тем суровее делается Чехов, беспощаднее к личности. Стороннее наблюдение, ирония, уступают место сатире, злой карикатуре на человека. Тогда Чехов представляет взору не человека даже, а некое существо, в котором каким-то образом еще теплится жизнь, но лишь для того, чтобы совершать только естественные физиологические процессы – дышать, ходить, разговаривать, иногда плакать или улыбаться – бездумно.

Внешне наделенный человеческими свойствами, живущий нормальной человеческой жизнью персонаж чеховской сатиры мертв именно как личность: ««Иван Дмитриевич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства». Герой живет по принципу, как бы чего плохого не случилось, и доволен своей жизнью. Нелепое происшествие в театре вносит непоправимые изменения в жизненное поле героя. В данном случае это могла быть не только ситуация с генералом, а и любая другая.

Для Чехова внесение в сюжет подобного сатирического момента важно тем, что он высвечивает человека сразу, в целом, не позволяя личности скрыть в свои человеческие уголки какие бы то ни было тайны. Повторяемая героем фраза: «Как бы чего не вышло» – это обобщающая формула самого обыкновенного, обывательского страха человека перед жизнью вообще, своего рода панцирь, в который прячется подобный индивидуум, переставший быть таковым (как тут не вспомнить щедринского пескаря).

И главное для Чехова в том, что чем нелепее человек в подобных ситуациях, тем он мельче, ничтожнее даже самой малой разумной жизни на земле. Оттого он, человек, не достоин быть таковым – называться не только лично-

стью, а и человеком. Он – всего лишь живое существо, живая бездумная оболочка плоти. Почему бы тогда не посмеяться от души над такой субстанцией?

Однако Чехов не только смеется, больше – в данных рассказах не звучит и «смех сквозь слезы». Его просто нет. Так как писатель не щадит человека подобного рода. Здесь кроется глубинное знание о человеке самого писателя как врача – постановка диагноза и пути оздоровления больного. Не случайно в одном из писем И.И. Островскому Чехов писал: «Медицина – моя законная жена, литература – незаконная. Обе, конечно, мешают друг другу, но не настолько, чтобы исключать друг друга» [1, с. 12]. В этом плане именно профессия врача позволила Чехову заглянуть в бездны человеческой души так глубоко, как до него это в русской литературе совершил Достоевский.

Путь, диктуемый Чеховым, довольно-таки прост: избавить человека от какого бы то ни было страха, страха перед жизнью, страха за жизнь, перед самим собой, перед другими и т.д. Разновидностей природы страха Чехов представляет достаточно много и полно. Но в градации данной природы превалирует страх человека перед человеком. С точки зрения писателя, это главная беда человека, человека – социального, пораженного болезнью общественных отношений.

Герой Чехова унтер Пришибеев, внешне наводя страх на окружающих, сам живет под тем же ежеминутным испытанием страха. Он, преследуя всех и вся, сам боится всего живого и отличается унтер Пришибеев от Червякова тем, что он портит жизнь не себе, а другим – и этим *страшен*. Проявление авторской иронии в том, что человек, стоящий на позициях защиты закона («нешто в законе сказано…» – главный его аргумент), законом же и наказывается. Уже в этой нелепости – своеобразие чеховской сатиры.

Здесь вновь идет художественная перекличка автора с рассказами Щедрина. Но особенность Чехова не в чистой сатире, а в юмористическом ракурсе. В конечном счете Пришибеев не столько страшен, сколько смешон. И когда арестованный, вопреки здравому смыслу, опять кричит свое: «Народ, расходись!» – ясно, что этот человек – какой-то психологический курьез. Фигура, близкая к гротеску.

И здесь в действие вступает сложный по своей внутренней квинтэссенции смех Чехова, природа которого чрезвычайно богата и непредсказуема. Понимание русской философией природы смеха дано в трудах С.С. Аверинцева. Ученый, исследуя теорию «карнавальности» М.М. Бахтина, приходит к выводу, что русское понимание смеха неразрывно сопряжено с понятием «грех». В отличие от Бахтина, Аверинцев в природе смеха находит не выражение свободы, а неуправляемую стихию.

Если для европейца допустимо понятие «святой пошутил» («The saint made a joke»), то для православного посмеяться – значит согрешить. Больший грех, если он вызван поведением юродивого. Аверинцев пишет: «..лишь по прискорбному заблуждению и греховному безумию, в меру помрачения нашего ума мы можем дерзнуть ему посмеяться. Мы смеемся,

когда должны были бы вздыхать, плакать и трепетать» [3, с. 301].

Сложность чеховской смеховой природы состоит в этой странной сочетаемости: выражать и собственно смех, и иронию, и слезы, и страх, и грех. Так, в рассказе «Хамелеон» Чехов откровенно смеется над героем – простодушно и откровенно. Свою минутную неловкость, проявляющийся страх, растерянность и одновременно желание выглядеть важно, выше окружающих людей герой прикрывает все новыми приказами нижнему чину снять с него шинель или накинуть. Все новые и новые распоряжения позволяют Очумелову скрыть минутную слабость, почувствовать себя нужным, необходимым, разрешающим важную государственную задачу. В нем автор воплощает классический тип человеческого хамелеона. Готовность такого человека ежеминутно меняться, по замыслам Чехова, является не просто смешной ситуацией, иронией над человеком, а самым настоящим злом, губящим самую жизнь вообще.

Большинство рассказов Чехова обнаруживает «хамелеонство» героя не случайно. Хамелеоны встречаются поодиночке или целыми группами, с особой художественной заданностью существующей жизненной проблемы. Так, в рассказе «Маска» чертами хамелеона наделена целая группа людей, казалось бы «интеллигентных» посетителей общественной читальни.

Чехов меняет в художественном плане ракурсы данного превращения, нежели в предыдущих произведениях. Если ранее в отдельных рассказах сам главный герой поминутно менялся, то здесь герой остается статичным, но люди вокруг него меняются. Пока герой был в маскарадном костюме и бушевал, раздавались смелые, осуждающие, гневные реплики и оценки: «Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву!». Когда же он сбросил маску и оказался миллионером Пятигоровым: «Не прикажете ли вас домой проводить… или сказать, чтобы экипаж подали?».

Циничное объяснение «превращению» дается в последних строчках рассказа: «Негодяй, подлый человек, но ведь – благодетель! Нельзя!». И тогда открывается картина не единичного превращения отдельного человека, поминутно меняющегося, а целая серия превращений или подмен, или выявлений истинного лика целой группы людей, всего общества, а возможно, и мира. Страшнее подобной ситуации придумать, вообразить невозможно. В этом, скорее всего, кроется загадка чеховского таланта. Всех, все человечество, а не отдельного человека призвать к ответу, высветить весь мир, своего рода в особом снимке (наподобие рентгеновского), для полного очищения, выздоровления.

Стихийная сила страха, лишающая человека человеческого начала, нашла в Чехове своего главного художника. Рассказы Чехова создали целостную картину нравственного ущерба обыкновенного человека – обывателя. То, что произошло с Червяковым от страха (умер) и Пришибеевым (хотел других наказать), – типичные явления.

Чаще, как видно из сотен чеховских сюжетов, страх перед властью и сильными людьми заставлял обывателя приспосабливаться к обстановке.

Так родилась почва для типа хамелеона – одного из художественных открытий Чехова. Смешно, иронично, более всего страшно, по Чехову, то, что подобные люди, такие ситуации становились нормой жизни. Человек по-настоящему превращался в обывателя, далекого от человека-творца, человека-деятеля. Поэтому звучащий смех Чехова направлен против человеческих пороков независимо от чина, культуры, сословия героя. Мелкость души и низость побуждений он презирал и в «маленьком человеке», угнетенном чиновнике.

Гоголь жалел такого человека, едва ли не плакал над судьбой Акакия Акакиевича, Достоевский глубоко переживал, печалился, тосковал по поводу униженных и оскорбленных. Тогда как молодой Чехов смеялся над ним, высвечивая в таком типе все дурное, что пробуждало в «маленьком человеке» само жестокое время. Ничтожность человека, его невостребованность, ненужность Чехов подчеркивал тем, что показывал огромное значение в жизни всего социума мелочей, пустяков. Кроме того, писатель стремился не просто высветить в человеке его стихию греховности, но желание, сопряженное с глубокой печалью увидеть в личности естественное проявление добра. [7, с. 381.]

Так Чехов через восприятие рефлексирующего интеллигентного героя разоблачал проблемность реальной действительности и вместе с тем развенчивал тип маленького человека за его неумение жить, за капитуляцию перед обстоятельствами. Неудачи личной жизни героя вытекают из его идейного банкротства, из стихийности и бесперспективности его бунта.

Психология Чехова не самоцель, а «диагноз» болезни, раскрывающий «внешние влияния» – объективную действительность. В этом отношении можно говорить об эпичности чеховских произведений, в которой представлена всесторонность человеческой судьбы, характера, психологии людей, порожденных общественной средой в определенном времени.

Обращение к быту, к непосредственному окружению раскрывает истоки душевного конфликта. Необыкновенная чуткость Чехова к пошлости, к фактам унижения, обесчеловечивания человека вытекает из необыкновенно высоких требований самого писателя к жизни, самому себе как личности, человеку, безусловно, высокому по своему природному началу.

Литература

1. Чехов А.П. Собрание сочинений. М., 1964.
2. Чехов А.П. Рассказы. М., 1989.
3. Аверинцев С.С. Новое в современной классической филологии. М., 1979.
4. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975
5. Белый Г.А. Чехов и русский реализм. Очерки. Л., 1981.
6. Громов М.П. Книга о Чехове. М., 1989.
7. Днепров В.Д. Идеи, страсти, поступки. Л., 1978.

Данчинова Мария Даниловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы Бурятского государственного университета. E-mail: arinadan67@mail.ru

УДК 82:1

© *И.С. Болдонова*

Герменевтический анализ художественного текста: коммуникативный аспект

В статье анализируется коммуникативная ситуация, в которой участвуют автор, интерпретатор и читатель. Литературная художественная коммуникация рассматривается сквозь призму герменевтических категорий.

Ключевые слова: герменевтическая интерпретация, литературная коммуникация, автор, читатель.

I.S. Boldonova

Hermeneutic analysis of a literary text: communicative aspect

In the article the author analyzes a communicative situation, in which author, interpreter and reader take place. Literary artistic communication is considered through the angle of hermeneutic categories.

Keywords: hermeneutic interpretation, literary communication, author, reader.

В герменевтическом эмпиризме текст рассматривается как равноправный собеседник, представляющий субъективный мир автора, вступающий в диалоговое со-бытие с интерпретатором.

Г.-Г. Гадамер утверждает, что художественное произведение в нашем историческом контексте не является просто объектом эстетического удовольствия, а несет познавательную, информационную нагрузку и способно выступить отправителем сообщения. С герменевтической точки зрения любое произведение искусства вписано в коммуникативный контекст и рассматривается в качестве источника коммуникации.

Если прекрасное становится предметом истолкования и понимания, то оно непременно вовлекается в языковой опыт мира и поэтому независимо от того, принадлежит ли произведение искусства словесности или нет, в герменевтическом опыте является участником коммуникативного процесса. Общение с искусством налагает печать ответственности перед значительностью и значимостью заключенного в нем опыта, искусство заставляет активизировать все внутренние ресурсы мыслительного, эмоционального потенциала. Гадамер называет ведущим принципом общения с искусством даже не ожидание смысла, а то, что ему хочется назвать «нашей затронутостью смыслом говорящего» [2].

Существуют структурные различия между процессом понимания в речевом диалоге и процессом понимания в диалоге двух партнеров в письменной коммуникации, при этом смысл может быть воспроизведен третьим лицом, как это имеет место в литературной герменевтике. Процесс межличностной коммуникации с литературным произведением имеет многоуровневую систему. Диалог в литературной герменевтике, отличаясь от та-

кового в устной речи, меняет структуру временной ориентации, обретает универсального адресата и определяет специфический характер коммуникации.

Т. Зеебом выделяет два типа диалогических ситуаций: репродуктивную и продуктивную, что соответствует низовой герменевтике и высшей герменевтике.

Репродуктивная интерпретация в низовой герменевтике соотносится с техническими, формальными аспектами, объектом здесь являются взаимосвязи значений текста или системы текстов.

Понимание в высокой герменевтике обусловлено континуумом значений прошлого, значимыми литературными традициями, т.е. взаимосвязью более высоких исторических уровней, толкование которых дает прирост смысла текста. Прирост смысла текста объективируется в другой знаковой материи – тексте интерпретатора, который в свою очередь предназначен для восприятия коммуникативным сообществом проницательных читателей. Так выстраиваются многоплановые, сложные, порой противоречивые отношения коммуникаторов в меняющемся коммуникативном процессе [4].

Точка зрения Зеебома интересна в том, что она выявляет особенности текстовой художественной коммуникации в литературной герменевтике, где коммуникативная ситуация подчеркивает значение взаимодействия семантических, культурно-исторических, смысловых полей коммуникаторов. Тем самым подчеркивается логика познавательной деятельности в интерпретативном подходе. Понимания в герменевтическом плане можно и не достигнуть, не имея объективных предпосылок в форме семантических значений и личностных смыслов.

При изучении текстовой художественной коммуникации необходимо учитывать и такие онтологические характеристики как форма существования объективированного авторского замысла. Книга как таковая стала неизменным атрибутом нашего повседневного бытия, что функционирование знаковой объективации в коммуникативном процессе также привносит свою специфику – типографское исполнение авторского замысла.

Во время чтения вслух или про себя печатное слово превращается в живое слово высказывания, и герменевтика предназначена для содействия этому процессу, а также толкованию особо трудных мест. Учитывая особенности коммуникативного бытия в герменевтической ситуации, следует акцентировать внимание на том, что текст как промежуточный продукт растворяется в процессе коммуникации и остается только стихия разговора интерпретатора с авторским сознанием и его эпохой. Если достигается интерсубъективность такового характера, то герменевтический диалог с литературным произведением посредством текста достиг цели.

Текст литературного произведения представляет собой многоуровневое образование, и структура авторского текста влияет на разговор. Качество общения зависит от жанра, стиля, соотношения монологической и диалогической речи, наличия авторской оценки и лирических отступлений. Час-

то бывает так, что автор изобретает рассказчика и вкладывает в его уста свои мысли, в этом случае общение читателя с автором несколько затруднено ввиду отстранения непосредственного автора. Повествование от первого лица содействует установлению более доверительных отношений в процессе коммуникации.

Субъект-субъектные отношения в художественной коммуникации еще больше осложняются, если принять во внимание всю систему персонажей литературного произведения, в первую очередь повествователя или группу повествователей. Внутритекстовые коммуникации, представленные, например, на уровнях героя-отправителя, героя-получателя, героя-объекта, а также на уровне одного или нескольких повествователей, представляют собой разные формы бытия межличностной коммуникации. Роль высказывания персонажа предполагает его предметность как составную часть информации всего произведения, т.е. коллективного отправителя к коллективному получателю.

Художественное произведение может говорить разными голосами, отражать разные точки зрения, но все это соединяется в обобщенном образе автора. Личность автора играет существенную роль в создании произведения и влияет на интерпретацию текста. И поэтому вполне оправдан взгляд на текст произведения как на выражение внутреннего мира автора и его культурно-исторической традиции. Писатель пишет для общества, выражает тенденции своего времени, открывает для людей особенности своего бытия. Поэтому «бытие-для-себя» автора как способ проявления «собственного понимания сущего» сливается с «бытием-для-другого», потому что писатель не может не быть частью социальной реальности и мотивы, цели, смысл его художественной деятельности реализовываются только тогда, когда произведение востребовано читательской аудиторией и получает отклик.

Художественная коммуникация предполагает интерпретацию, т.е. присутствие медиатора. В текстовой художественной коммуникации таким медиатором является интерпретатор, обладающий герменевтическим сознанием, он пользуется методом литературной герменевтики для практического осуществления художественной письменной коммуникации.

Если книга переводится, то свое слово вставляет и переводчик. В роли медиаторов могут выступать персонаж в роли повествователя, переводчик, интерпретатор, издатель. В контексте данного исследователя, в текстовой художественной коммуникации ведущая роль все же принадлежит интерпретатору.

Специалист-интерпретатор призван разгадать чужую творческую индивидуальность, при этом он реализует личностный подход к интерпретируемому произведению и свои творческие устремления как «бытие-для-себя», интерпретируя для читателей – «бытие-для-другого». Субъект понимания производит акт познания в экзистенциальном смысле – познает и

свое бытие, включенность своего сознания в художественный опыт мира, вовлеченность в культурно-историческую традицию.

Читатель в герменевтическом процессе осуществляет «бытие-для-себя» как воспринимающая сторона. Смысл деятельности читателя заключается в реализации обыденного сознания и удовлетворения духовных запросов. Если в процесс восприятия не вмешивается сознание специалиста-посредника, то понимание читателя можно назвать обычным, повседневным, в котором заложен здравый смысл. Процесс восприятия читателя усложняется, если помимо самого текста литературного произведения надо понять и новый текст, созданный герменевтической рефлексией по поводу художественного текста.

Однако художественная коммуникация часто носит не аналитический, а практический характер. Профессиональная интерпретация в литературной герменевтике не всегда доступна широкой читательской аудитории и поэтому еще одной задачей герменевтики является воспитание читательского вкуса.

Если текст литературного произведения подвергается профессиональной научной интерпретации специалистом-медиатором, осуществляется так называемая Гадамером научная коммуникация. Литературная герменевтика выступает той областью знания, которая методологически и процедурно регулирует научную коммуникацию с художественным текстом. Следовательно, художественная и текстовая коммуникации соотносятся с герменевтической научной коммуникацией.

Любой осуществляющий научную рефлексию ученый участвует, по определению К.-О. Апеля, в «данных языковых играх», при которых его участие должно происходить при помощи определенной языковой игры. Интерпретатор в текстовой научной коммуникации находится в специфической языковой игре, которая по своей сути герменевтически обусловлена и имеет герменевтические цели и задачи. С одной стороны, языковая игра в литературной герменевтике рефлективно и критически относится к языковой игре художественного текста, с другой – специфическая языковая игра соотносится с языковой игрой реципиентов. Посредством участия во всевозможных языковых играх, в нашем случае, по крайней мере, в двух, интерпретатор вступает в коммуникацию и с автором через текст, и со своим адресатом [1].

Герменевтическая рефлексия в концепции Г.-Г. Гадамера имеет схожие характеристики с перформативной установкой Ю. Хабермаса. Если перформативная установка интерпретации содействует осознанию бытийных основ своей деятельности, то присутствие рациональных элементов в процессе интерпретации помогает упорядочить гносеологическую процедуру и начать процесс познания с выяснения объективных значений.

Хабермас утверждает, что в известном смысле все толкования являются рациональными, и он приводит взаимосвязь деятельности в литературной герменевтике с такими дисциплинами, как логика, математика, теория по-

знания и теория науки, лингвистика и философия языка, этика и теория действия, эстетика и теория аргументации и т.д. Рациональное обобщение и реконструирование выясняют условия значимости высказываний и тем самым «принимают на себя *конструктивную* роль». Хабермас отмечает особое методологическое значение присутствию рациональности еще и потому, что убежден в том, что это придает конкурентоспособность теоретического знания социальных наук [3].

Итак, текстовая художественная коммуникация является особым видом социальной коммуникации, в методологической основе которой используются категории и понятия литературной герменевтики как частнонаучной дисциплины. Особенность диалога в литературной герменевтике, отражающая специфику герменевтической деятельности и специфику письменной формы коммуникации, обладает эвристической значимостью, поскольку искусство, открытое разговору, обладает большим эффектом. Востребованный коммуникативной ситуацией текст при герменевтическом изучении становится не только источником эстетического удовольствия, но и несет познавательную нагрузку.

Каждое звено структуры текстовой художественной коммуникации реализует свою роль в герменевтическом процессе сообразно задаче по выявлению смысла произведения и достижению духовной общности. Текст выступает больше, чем текст, как знаковая объективация авторского сознания. Текст становится причиной для саморефлексии и реализации онтологических возможностей коммуникаторов герменевтического разговора. Интерпретатор-герменевт является тем катализатором, с помощью которого выявляются смыслы произведения и выполняется его основная коммуникативная функция. Соединяя донаучное знание с методологией научного познания, интерпретатор добивается нескольких целей герменевтической деятельности. Герменевтическая интерпретация органично соединяет в себе возможности гуманитарного познания и мастерства общения с миром искусства. Сложная языковая игра интерпретатора, в которую вовлечены коммуникативные уровни автора, повествователей, читателей, охватывает широкий культурно-исторический контекст. Анализ методами герменевтики помещает художественный текст в диалоговую ситуацию, при которой начинают звучать скрытые смыслы, отражающие внутренний мир участников коммуникации.

Литература

1. Апель К.-О. Трансформация философии / пер. с нем. В. Куренного, Б. Скуратова. М.: Логос, 2001. – 344 с.
2. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – 367 с.
3. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб.: Наука, 2000. – 380 с.
4. Seebohm Th.M.von. Zur Kritik der hermeneutischen Vernunft. – Bonn, 1972.

Болдонова Ирина Сергеевна, доктор философских наук, зав. кафедрой зарубежной литературы Бурятского государственного университета. E-mail: irina_duncan@mail.ru

Научное издание

ВЕСТНИК
БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2 / 2012

ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА

Редактор И.Х. Оширова
Компьютерная верстка Л.П. Бабкиновой

Свидетельство о государственной регистрации
№ 1289 от 23 декабря 2011 г.

Подписано в печать 21.10.12. Формат 70 х 100 1/16.
Усл. печ. л. 14,3. Уч.-изд. л. 11,5. Тираж 500. Заказ 270.

Издательство Бурятского госуниверситета
670000, г.Улан-Удэ, ул.Смолина, 24 а
E-mail: riobsu@gmail.com